

СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ

ВОЛЧЬЯ ХВАТКА.
ВОЛЧЬЯ ХВАТКА-2
(СБОРНИК)

Сергей Алексеев

**Волчья хватка. Волчья
хватка-2 (сборник)**

«Алексеев Сергей»

2000, 2006

Алексеев С. Т.

Волчья хватка. Волчья хватка-2 (сборник) / С. Т. Алексеев —
«Алексеев Сергей», 2000, 2006

ISBN 978-5-271-39898-8

Вячеслав Ражный – президент охотничьего клуба, бывший боец спецназа погранвойск. Но это всего лишь малая, видимая простым смертным часть его бытия. Ражный – вотчинный аракс, воин Засадного Полка, созданного еще в XIV веке Сергием Радонежским. В тяжелые для России годы Сергиевы ратники, владеющие особым боевым искусством, которое передается веками от отца к сыну, приходят на помощь родине. В мирное время они решают вопросы жизни и смерти между собой. Ражный, выстоявший в своем первом поединке, готовится к новой схватке с братом-араксом. Но куда опаснее будет столкновение с обычными людьми в современном мире, где в волке больше человеческого, чем в самом человеке...

ISBN 978-5-271-39898-8

© Алексеев С. Т., 2000, 2006

© Алексеев Сергей, 2000, 2006

Содержание

Волчья хватка	6
1	6
2	21
3	30
4	45
5	60
6	76
7	94
Конец ознакомительного фрагмента.	100

Сергей Алексеев
Волчья хватка. Волчья хватка-2 (сборник)

© Алексеев С.Т., 2011

© ООО «Издательство Астрель», 2011

* * *

Волчья хватка

1

Распятый веревками по рукам и ногам, он висел в трех метрах над полом и отдыхал, слегка покачиваясь, словно в гамаке. Натяжение было настолько сильным, что Ражный нисколько не провисал, и потому казалось, воздух пружинит под спиной, как батут, и если прикрыть глаза, можно ощутить чувство парения. Сухожилия и кости давно уже привыкли к бесконечному напряжению, и теперь вместо судорожной боли он испытывал легкое, щемящее сладострастие, чем-то напоминающее приятную ломоту в мышцах и суставах, когда потягиваешься после сладкого сна. Однако похожесть была лишь в ощущениях, поскольку это состояние имело совершенно иную природу и называлось Правил^{ом} (с ударением на первый слог), своеобразная пограничная фаза, достигнув которой, можно в любой момент произвести энергетический взрыв, например повалить столетнее дерево, задавить руками льва или медведя, сдвинуть неподъемный камень.

Или, оттолкнувшись от земли, подняться в воздух...

Подобные вещи обыкновенные люди проделывают в состоянии аффекта или в крайней критической ситуации, совершая произвольные, нечеловеческой силы действия, повторить которые никогда потом не могут. Снимают с рельсов трамвай, переехавший ребенка, или прыгают за ребенком с высоты девятого этажа и остаются живы и невредимы. Бывает, и летают, да только во сне и в детстве...

Управляемостью Правил^{ом} можно было овладеть лишь на этом станке, в течение долгого времени распиная себя на добровольной голгофе и постепенно сначала увеличивая, а затем снижая нагрузку. Суть управления заключалась в способности извлекать двигательную энергию не из мышц, чаще называемых среди араксов сырыми жилами, не из этой рыхлой, глиноподобной и легкоранимой плоти, а из костей, наполненных мозгом, и сухих жил – забытого, не востребованного и неисчерпаемого хранилища физической и жизненной силы. Костная ткань и особенно мозг имели способность накапливать огромный запас энергии солнца (в том числе и радиации), но человек давно разучился высвобождать и использовать ее, отчего происходил обратный эффект: плоть от перенасыщения активной «замороженной» силой быстро старела, вместо радости бытия развивались болезни, и век человеческий вместо двух, трех сотен лет сокращался вчетверо. Поэтому араксы не были сажеными гигантами с метровым размахом плеч, как обычно представляют себе богатырей, почти не выделялись в толпе каким-то особым телосложением; чаще, наоборот, выглядели сухощавыми и жилистыми, но с широкой костью.

И жили так долго, что вынуждены были прятать свой возраст.

Сам тренажер тоже назывался правил^{ом}, только с ударением на второй слог, и потому говорили – поставить или поднять на прав^ило, то есть после Пира, первого в жизни поединка, который увенчался победой, араксу давали право овладеть этим состоянием. В названии станка точно отражалось его назначение – выправить плоть человека, вернуть ее в первоначальное состояние силы и свободы, а значит, и исправить духовную сущность. На первый взгляд он был прост, как все гениальное: в четырех углах повети на крючьях подвешивались точеные дубовые блоки, через них пропускались мягко витые, но прочные и пружинящие веревки из конского волоса, с одного конца цеплялся груз, с другого – запястья и лодыжки. Чтобы подвесить себя на эти растяжки, не требовался даже помощник. Противовесы в углах закреплялись на высоте с помощью сторожков, Ражный садился посередине пола, закреплял на конечностях кожаные хомуты, затем одновременно тянул все четыре веревки на себя. Сила падающего груза в одно

мгновение вскидывала его вверх, раздавался низкий гул натянутых в струну бечевков, и прежде чем приступить к специальным упражнениям, он несколько минут покачивался, будто на волнах.

Для мирских людей подобное приспособление показалось бы орудием пытки...

Ражный вздымался на правиле, когда на базе не было посторонних, зная, что свои не станут беспокоить. И в этот раз он не ждал гостей, однако в самый неподходящий момент к нему пришел калик. Этих всезнающих вечных путников не чуяли собаки, не держали замки и запоры, и ходили они так, что ни сучок под ногой не треснет, ни половица не скрипнет, потому он в буквальном смысле явился, вдруг обнаружив себя голосом.

– Здравствуй, Сергиев воин, – послышалось от дверей. – Не ждал ли ты гостя из Сирого Урочища?

Называя Ражного по-старинному, пришедший подчеркивал к нему уважение, поскольку в последнее время засадники называли друг друга просто защитниками, что и означало слово аракс. Калики переходные – наказанные араксы, жили общинно в Сиром Урочище, своеобразном скиту. И были еще там калики верижные, носящие на теле своем тридцатипудовые цепи – вериги, которыми усмирялась взбесившаяся плоть. Иначе их называли болящими, поскольку они когда-то переусердствовали в достижении Правила, перетрудились на правиле и, единожды войдя в состояние аффекта, более никогда не выходили из него и, не чувствуя, не соразмеряя силы своей, переступали неписанные законы – до смерти били соперников в Урочищах, буйствовали и колотили народ в миру. Тяжкие вериги приносили им со временем обратный эффект, достигаемый на правиле: наказанные араксы слабели и превращались в «ослабков» – уродливых, кривоногих, горбатых и физически убогих людей, кончающих жизнь свою в том же Сиром Урочище, где исполняли нехитрые обязанности по хозяйству, или уходили в мир, становились юродивыми, блаженными мудрецами.

Традиция эта соблюдалась жестко и неизменно со времен Сергия Радонежского, который не бросал в тюрьмы и подземелья провинившихся, а напротив, приближал к себе, держал под рукой и перед своим недремлющим взглядом.

Накануне схватки приход калика мог означать самое неприятное и обидное – потерю поединка. Духовный старец и судья Ослаб мог по каким-то причинам, скорее всего самым невероятным, не признать его победу на Пире – первой в жизни схватке, отдать ее Колеватому и прислать порученца с этой несправедливой вестью. Отец говорил, подобное случалось, если побежденный соперник приводил старейшине веские аргументы и доказывал, что вотчинник, на ристалище которого происходила схватка, и особенно Пир, пользовался запретными средствами или приемами.

– Я Ражный вотчинник, – ответил он. – Здравствуй, калик.

– Не спускайся с правила, – предупредил тот. – Дело у меня минутное...

– Говори.

Он ждал посланца не от Ослаба – от Пересвета. Накануне поединка калики приносили Поруку – время и место следующей схватки. Если одержишь победу – сам пойдешь, а побежден будешь – передашь своему противнику, когда тот подаст тебе руку, чтобы помочь встать на ноги.

Сейчас он не мог видеть калика, стоящего внизу, и судя по голосу, это был старый и нетерпеливый аракс, за что-то упеченный в Сирое Урочище.

– Боярин велел сказать, та Порука, что ты получил после Пира, отменяется.

Поруку дал Колеватый, когда лежал побежденным на вспаханном ристалище.

Ражный напрягся и совершил невозможное – повернул голову на сто восемьдесят градусов и увидел калика: пожилой, сутуловатый человек с огромными и длинными руками. Не приведи Бог брататься с таким...

Калик манежил, тянул время, но он вытерпел и лишь покачался на веревках, разминая мышцы рук. Единственным фактом, который Колеватый мог привести в качестве аргумента против полноценности Ражного, как аракса, была старая, давно обросшая мышцами рана на боку, где осколком мины вышибло ребро. Соперник мог доказать Ослабу, что во время схватки его неотвязно преследовала мысль любым неосторожным движением или ударом нечаянно убить Ражного, и потому-де, мол, чувствовал скованность во время поединка, чем и воспользовался пирующий аракс.

Но тогда это была бы явная кривда, ибо Колеватый увидел рану лишь перед сечей, а в периоды кулачного зачина и братания она была прикрыта рубахой.

– Твой соперник, славный аракс Стерхов, месяцем назад в миру погиб, – наконец-то снова заговорил калик. – Банальная автокатастрофа...

Ражного едва удержали веревки и противовесы – тело враз огрузло и потянуло к земле...

Смерть будущего поединщика означала, что победа в несостоявшейся схватке отдана ему. И в этом подарке не было ничего хорошего, если ты истинный аракс и тебе предстоит еще много поединков на земляных коврах, где в каждом последующем нужно ждать соперника более сильного, чем предыдущий.

– И что же?.. Пересвет лишил меня поединка?

Калик стоял внизу, как палач возле поднятой на дыбу жертвы, и мучил – тянул время.

– Не лишил, не бойся. – Еще и засмеялся, подлый! – Мужу боярному понравилось, как ты отделал Колеватого. Славно ты попиrowал, Ражный! А ведь Колеватый ходил в твою вотчину, чтоб зеленые листья с тебя сколотить...

– Где и когда? – перебил его Ражный.

Калик понял суть вопроса, но отвечать не спешил.

– Ослаб с опричиной скорбят по нему, а ты радоваться должен. Я тягался со Стерховым... Уверю тебя, зачин бы ты выстоял, а вот братание вряд ли...

– Меня не интересуют твои прогнозы, сырий, – резко оборвал он. – Говори!

– Срок и место Пересвет решил не переносить. Сказал, пусть будет, как было, ваш поединок – Пир Тризный и посвящен памяти славного аракса.

Разница в обыкновенном и тризном поединке состояла в том, что в последнем запрещалось стоять насмерть...

– Кто противник? – помедлив, спросил Ражный, хотя не надеялся услышать имя.

– Тебе еще раз повезло, – вздохнул калик. – Пересвет к тебе благоволит. Не знаю уж, по какой причине... Может, из-за отца твоего, а может, из-за победы над Колеватым... Но имя назвал. Против тебя выйдет Скиф. Слышал о нем?

– Не слышал...

– Ну да, ты же недавно пировал, – не удержался укорить молодостью калик. – Так вот знай, Скиф посильнее Стерхова, это я тебе говорю. Но ты приготовь достойный дар вотчиннику Вятскополянскому, не скупись. Мой тебе совет – пригони ему тот джип, что Колеватый тебе подарил. Только молчи, я тебе ничего не говорил!.. Отец Николай любит кататься с ветерком, а ездит на драных «Жигулях», но у него там жуткое бездорожье. И он тебе все устроит. Он пять лет назад единоборствовал со Скифом, и тот батюшкой чуть ли не пол-урочища вспахал, как сохой. В Белореченском Урочище сходились... Так что Николай до сей поры этого забыть не может.

Калики кроме своих повинных обязанностей были добровольными разносчиками новостей, слухов и сплетен; они знали все, что творится в Засадном Полку, а также то, например, о чем думают или о чем хотят подумать старец Ослаб и боярый муж Пересвет.

– Я взятки давать не буду, – прервал его Ражный. – Тем более колеватовского джипа уже нет...

– А где же он?! – будто бы изумился калик, хотя должен был знать, что все дорогие подарки вотчинники передают в казну Сергиева воинства.

– Сирый, ты меня притомил...

Тот нарочито обиделся.

– Ну, тогда тебе лучше с правилами не сходить, если хочешь выстоять хотя бы до братания! Вот и виси под крышей, как муха в тенетах!

– Мне не нужны советы, – отрезал Ражный. – Скажи-ка лучше, принес ли ты новую Поруку?

– Нет, не принес. Боярин велел сказать лишь то, что сказал. А насчет новой Поруки – ничего. Может, он уверен, что ты Скифа одолеешь, так ему сообщил, где и когда следующий поединок.

– Ладно, иди, если все сказал!

– Какой строптивый! – усмехнулся калик. – Хотел бы я посмотреть, как ты со Скифом схватишься! Особенно в кулачном зачине!.. Так что Пересвету передать?

– Я перемену принял и жаловаться не стану.

– Так и передам!.. Слышишь, Ражный, подбрось на дорогу? К тебе добираться – беда, а таксисты цены ломают... Ну не пешком же мне ходить в конце двадцатого века! Работать некогда, воровать не пристало...

Ражный ждал такого вопроса, потому что не был бы калик, если б не выпросил что-нибудь.

– На вешалке куртка, – сказал он. – В кармане бумажник... Возьми сколько есть.

Сирый пошелестел, как мышь сухарями, протянул разочарованно:

– Тут всего-то двадцать баксов...

– Чем богаты, тем и рады...

– Ну тебя, Ражный! Все вотчинники прибедаются. А у кого нынче деньги? У вас да у опричников! Те так вообще ни гроша не дадут, поезжай на что хочешь...

– А ты их видел когда-нибудь? Опричников?

Калик спрятал деньги, помялся.

– Видеть не видел... Чтоб вот так явно! Кто из них признается?.. Но некоторых иноков подозреваю. Кстати, вот этот Скиф – один из них. Весь какой-то таинственный, ходит призраком, говорит загадками... И женился недавно!

Его подмывало выдать Ражному какие-нибудь последние сплетни, которых нахватался, путешествуя от аракса к араксу, и разумеется, не бесплатно...

– До свидания, сирый! – громко сказал Ражный, оборвав его на полуслове. – Дверь запри, как было.

– Ну, будь здоров, вотчинник!

– Скатертью дорога, Сергиев калик!

Он ушел так же неслышно, как появился, лишь сорока протрещала на опушке леса, давая сигнал, что видит человека. Ражный выждал минуту, отключился от реальности, полностью отдаваясь состоянию Правила, однако имя вольного поединщика – Скиф – осталось в сознании и откровенно мешало сосредоточиться. Тогда он сделал глубокий вдох и затаил дыхание минут на пять: это обычно помогало, поскольку кислородное голодание прочищало подсознание. Образ соперника, выраженный в имени, постепенно растворился, перед глазами поплыли радужные пятна, и тогда он выдохнул и свел руки, подтягивая противовесы. Это было исходным положением для «мертвой петли» – кувyrка через спину.

Но выполнить упражнение он не успел, ибо вдруг услышал злобный лай сторожевой овчарки Люты, сидящей на цепи, и мгновение спустя дружно и яро заорали гончаки в вольере.

Вот уже две недели, как Ражный разогнал в отпуска всех егерей со строжайшим запретом ни под каким предлогом не являться на базу; мыслил перед поединком побыть в полном одиночестве и подготовиться без чужих глаз.

Судя по лаю, пришел кто-то посторонний...

Он подождал пару минут – псы не унимались, незваный гость нагло рыскал по территории, чем и приводил собак в неистовство. Ражный вспомнил, как однажды на базу залетел Кудеяр, и вместо «мертвой петли» освободил руки от хомутов, после чего, удерживаясь за веревки, подтянулся и поочередно снял растяжки с ног. Обернутые войлоком противовесы с глухим стуком опустились на пол. Сойдя с небес, он аккуратно смотал и убрал веревки, вышел из повети и запер дверь на ключ: о существовании тренажера, как, впрочем, и о тренировках, никто не знал и знать не мог ни под каким предлогом.

Откидывая железный затвор на входной двери, он услышал мягкие шаги на ступенях и короткое, запаленное дыхание...

На крыльце стоял волк – необычно крупный переярок, возраст которого мог отличить лишь опытный глаз. По-собачьи вывалив язык и по-волчьи поджав хвост, он смотрел настороженно и дерзко, готовый в каждое мгновение отскочить назад и скрыться в высокой траве.

– Молчун? – спросил Ражный.

Волк медленно расслабился и сел, однако в глазах остался испытывающий звериный лед. Гончаки заорали дружным хором, почуяв близость хозяина.

– Каким же тебя ветром занесло?.. И не узнать, совсем взрослый волчара. Жив, значит, брат? Это уже хорошо...

Молчун вслушивался в человеческую речь и постепенно оттаивал. Ражный сел на ступеньку крыльца, притиснувшись позвоночником к основанию резного столба, а волк неожиданно ткнулся в его опущенные руки, замер на мгновение, после чего стал вылизывать натертые до мозолей, напряженные запястья. И это было не проявлением ласки и преданности – своеобразным приветствием, некой обязанностью ухаживать за вожаком.

– Я предупреждал, – не сразу и назидательно сказал Ражный, чувствуя, как под волчьим языком гаснет жгущая боль. – Никогда не приходи ко мне... Я запретил тебе являться. Ты убил человека. Ты дикий зверь и больше ничего.

Переярок отступил назад и сел с виновато опущенной головой. На широком его лбу Ражный заметил тонкий просвет белой шерсти – верный признак заросшей раны, оставленной пулей или картечиной. Значит, уже досталось от кого-то...

– Все равно уходи, – приказал он. – В другой раз умнее будешь.

Молчун неожиданно вскинул морду и провыл низким, рокочущим басом – в глубине дома зазвенели тарелки в посуднике. А гончаки в вольере разом примолкли, и только кормилица Гейша заскулила радостно, загремела сеткой: трубный голос был умоляющим, призывным и требовательным одновременно.

– Что ты хочешь сказать? – Он настороженно встал, и зверь тотчас же соскочил с крыльца, отбежал в сторону берега и сел, поджидая человека и предлагая следовать за ним.

– Не пойду! – крикнул ему Ражный. – Я занят, понял? Через три недели поединок! Все, гуляй!

И ушел в дом. Волк в несколько прыжков снова оказался на крыльце, с ходу толкнул лапами дверь и тут же лег у порога, не смея ступить в жилище вожака. Проскулил просительно, так что Гейша в вольере заходила кругами и заревела по-матерински в голос.

– Ну, что там стряслось? – после паузы ворчливо спросил он и сдернул охотничью куртку с вешалки. – Без меня там никак?.. Мы же договорились: ты дикий зверь и живешь по своим волчьим законам. Я – по своим... И пути наши не должны пересекаться.

Молчун, как и положено, молча проследил за сборами, и когда Ражный взял карабин, так же беззвучно сошел с крыльца и потрусил к реке. На берегу он сел мордой к воде, подождал жожака.

– Понял, – обронил тот и полез в лодку.

Выждав, пока он запустит двигатель, волк демонстративно побежал кромкой яра вверх по течению, но за поворотом внезапно обогнал моторку, прыгнул в воду и поплыл наперерез. Ражный решил, что Молчун пытается таким образом пересечь в лодку, и сбавил газ, однако зверь спокойно пересек кильватерную струю и направился к противоположному берегу.

– Как хочешь, – буркнул Ражный и добавил скорости.

Волк же выбрался на сушу, встряхнулся и стремглав скрылся в густом чащобнике. И пока Ражный объезжал речную петлю в полтора километра, зверь миновал узкий перешеек и поджидал жожака у воды.

Подобная гонка длилась около получаса, прежде чем Молчун перестал пропадать из виду и пошел строго по берегу, в пределах видимости. Между тем осенний день был на исходе, низкие серые тучи отражались в воде, и этот сумеречный свет скоро затянул все пространство. Серый зверь почти растворялся в нем, и заметить его путь можно было лишь по шевелению сухих трав и резкому дрожанию ивовых кустарников возле уреза воды.

На очередном повороте неподалеку от разрушенного моста волк исчез, однако Ражный заметил силуэты лошадей на фоне белесых кустарников и лишь потом машущих руками людей. Резко сбавив обороты, он подчалил к берегу и одного узнал сразу – старший Макс, сын фермера Трапезникова. Второй же, молодой человек с кожаной сумкой на плече, одетый явно не для лесных походов, был незнакомым и, скорее всего, не из местных жителей. Он держался особняком, бродил вдоль речной отмели и казался безучастным к происходящему, тогда как Трапезников чуть ли не в воду лез, встречая лодку.

Ражный заглушил двигатель, и Макс вдруг застыл возле борта, глядя мимо.

– Ну, и что молчим? – спросил Ражный, слушая свой незнакомый голос в наступившей тишине.

Трапезников сел на нос лодки, повесив голову, незнакомец достал сигареты и закурил, и тут из прибрежных кустов появился младший, постоял мгновение, как сурок, внезапно заплакал навзрыд, чем окончательно встревожил Ражного, и снова скрылся.

Они были погодками, девятнадцати и двадцати лет от роду, высокие, широкоплечие, с исключительно гармоничной мускулатурой и, несмотря на молодость, степенные, чинные и немногословные. Старшего звали Максимилиан, младшего – Максим. Впрочем, вполне возможно, и наоборот, поскольку и родители не были точно уверены, кого как зовут на самом деле, выправив метрические свидетельства лишь спустя три года после рождения, поэтому их звали просто Максами. Их отец в придумывании имен своим детям отличался оригинальностью и одну из дочерей назвал даже Фелицией, таким образом наградив обидной для девочки кличкой Филя – как ее немедленно окрестили в сельской школе.

Оба Трапезниковых уже около года находились в розыске как уклоняющиеся от призыва на действительную военную службу.

Братья вряд ли когда плакали, выросшие в суровой природной среде, и потому у младшего получался не плач, а отрывистый, сдавленный вороний клекот, доносившийся из кустов.

– Заткнись, – сказал ему Ражный. – Слушать противно... Мужик!

Молодой человек с сумкой наконец-то приблизился к лодке и представился без всяких эмоций:

– Я врач районной больницы.

– И что дальше? – поторопил он.

– Нужно доставить труп в морг.

Ражный помолчал, спросил натянуто:

– Какой еще труп?

Тем временем старший Макс сполоснул водой лицо, проговорил отрешенно:

– Она умерла...

– Кто – она?

– Дядя Слава, она умерла! – в детском отчаянии крикнул он. – Сейчас, на наших глазах! – И с ужасом посмотрел туда, где стояли кони и откуда доносился плач младшего.

Ражный догадывался, кто мог умереть, но не хотел, не желал верить и еще надеялся услышать другое имя...

– Может, ты объяснишь, кто? – спросил у врача и вышел на берег.

– Не знаю, – обронил тот и замаялся. – Документов нет... Женщина лет двадцати. Меня привезли к больной... Очень красивая... девушка.

За безучастием и равнодушием доктора скрывались растерянность и сильное волнение: вишнево-синие протуберанцы исходили от него в разные стороны и стелились над землей клочковатыми сполохами.

– Ты же помнишь, дядя Слава, – в сторону проговорил старший Макс. – В прошлом году девушка потерялась, Миля звали... Милитина полное имя...

Ражный молча направился к лошадям, привязанным за корягу на склоне берега, Трапезников и врач тотчас пошли за ним.

Завернутое в пододеяльник тело лежало на примитивной волокуше, видимо, только что изготовленной из двух срубленных берез. Возле него сидел младший Макс, держа руки покойной в своих руках – будто отогреть пытался.

Еще год назад, когда Ражный в последний раз видел Милю, она была красавицей. Точнее, не просто смазливой и ухоженной, каких сейчас было много, а потрясающей воображение, ибо никто ему так не снился, как эта девица легкого поведения.

Но о покойниках или хорошо, или ничего...

Узнать мертвую сейчас было невозможно: изможденное желтое лицо, проваленный старушечий рот, скатавшиеся в мочалку волосы и капли пота, будто заледеневшие на широком лбу...

– Она прекрасна, – между тем проговорил доктор. – Смерть проделывает с женщинами поразительные вещи...

Старший Макс опустился рядом с покойной на колени, бережно отнял одну руку ее у младшего и стал гладить скрюченные пальцы.

– Где ее нашли? – спросил Ражный братьев, однако они переглянулись и промолчали.

– В домике была, – вместо Трапезниковых сказал доктор. – Избушка на курьих ножках... В тяжелом состоянии... Болезнь обезобразила, а смерть изваяла красоту.

– Отчего умерла? – перебил говорливого доктора Ражный.

– Трудно сказать... Вскрытие покажет. Нужно немедленно в морг. Помогите доставить труп.

– Она заболела, – не сразу пояснил старший. – Три месяца назад, летом...

– А за мной приехали только позавчера! – укорил врач. – Теперь отвечать будете, лекари! Братья скорбно помалкивали и думали не об ответственности...

– Несите ее в лодку, – распорядился Ражный.

Младший легко поднял тело на руки и понес к реке, старший шел рядом и поддерживал свисающую голову.

– Вероятно, запущенное двустороннее воспаление легких, – на ходу доверительно поделился предположениями доктор. – Сильный кашель, кровь в мокротах...

Утомленный компанией странных лесных братьев и не менее странной умирающей девицы, он теперь, кажется, радовался, что встретил взрослого серьезного человека и что избавлен наконец-то от долгих мытарств перевозки трупа в морг районной больницы. Когда

Трапезниковы положили тело на дно лодки, доктор сел на скамейку поближе, намереваясь поговорить по дороге, а рядом с покойной оказался младший Макс.

– Езжайте берегом, – приказал Ражный. – Перегруз, лодка маленькая.

Парень нехотя, но послушался, укрыл лицо Мили и вылез на берег. Доктор же придвинулся еще ближе, спросил между прочим:

– Интересно, как вы узнали? Или случайно ехали?..

– Случайно, – буркнул тот, запустил мотор и, отвернувшись от встречного ветра, погнал дюральку вниз по реке.

Скорбящие братья вскочили на коней и поехали напрямую, волчьим ходом, срезая речные меандры.

– Ее можно было спасти! – Доктор еще пытался наладить разговор, перекричать вой мотора. – Хотя бы на несколько дней раньше!.. Отправить санрейсом в областную больницу!.. А эти полудикие ковбои пользовали ее травкой! Когда нужны мощные антибиотики!..

Ражный не отвечал, лавируя между тесных берегов и бурлящих топляков. Вместе с сумерками засеял мелкий, хлесткий дождь, отчего пододеяльник быстро намок и облепил худенькое тельце. Он старался смотреть вперед и по сторонам, но взгляд сам собой притягивался к мертвой, и непроизвольно всплывали воспоминания более чем годичной давности.

– У нее была на шее лента? – вдруг спросил он.

– Какая лента?

– Черная, бархатная? Как проститутки носят?

– Она что, проститутка? – заинтересовался врач.

– Нет.

– И я думаю. Такого быть не может!

И это был весь диалог за дорогу.

На базу Ражный приехал в темноте, насквозь мокрый и озябший, у доктора так вообще зуб на зуб не попадал. А братья Трапезниковы уже стояли у воды, и их кони паслись по краю обрыва, выщипывая еще зеленую траву. Едва лодка ткнулась в берег, как младший прыгнул на нос и, грохоча сапогами, полез за телом Мили – спешил первым взять ее, боялся, отнимут. Встал на колени, бережно просунул руки под шею и колени, поднял и так же торопливо понес на берег. Голова покойной откинулась, подогнулись ноги, и вся она собралась в мокрый комочек, закрученный в пододеяльник, как в пеленку.

– У вас есть машина? – спохватился доктор.

– Есть, – проронил Ражный, провожая взглядом братьев. – Но не дам.

– Почему?

– Двигатель разобран...

– А как же мне ехать? Как везти труп?

– Не знаю. – Он привязал лодку и пошел в гору.

– Но его срочно следует доставить в морг!

– В морг можно и не срочно, – пробурчал Ражный. – Раньше пошевелился бы – в больницу отвез...

Врач чуть приотстал, растерянный, потом догнал – бежал рысью, разогревался.

– И поблизости никакого транспорта не достать?

– Возможно, завтра заедет охотовед...

Младший Трапезников вынес тело на берег и остановился в нерешительности. Старший хотел было помочь ему, взять скорбную ношу, однако тот отстранился и крепче прижал к себе покойную.

– Что же нам делать? – за всех спросил доктор.

– Ждать утра, – на ходу посоветовал Ражный, направляясь к своему дому. – Вон охотничья гостиница...

– А труп?.. Понимаете, его нужно доставить для судебно-медицинской экспертизы. Иначе начнутся химические процессы в тканях, мозге, разложение... – Он оглянулся на Трапезниковых, заговорил шепотом: – Неизвестно, чем они пользовали больную. Может, отравили по невежеству... У вас есть морозильная камера?

– Есть... Но для хранения пищевых продуктов, а не трупов.

– Да ничего с ней не случится! Проведете дезинфекцию!..

– Морозильники отключены, нет энергии. Отнесите тело в «шайбу».

– В какую шайбу? – возмутился и разогрелся врач.

– Они знают, в какую. – Ражный кивнул на братьев и, поднявшись на крыльцо, снял с гвоздя ключ, бросил доктору. – Отопрете и положите на поддон. Там холодно...

В доме он зажег керосиновую лампу, задернул шторы на многочисленных окнах, запер дверь на засов и, спустившись в подпол, достал небольшой бочонок с хмельным медом собственного изготовления. Выдернув затычку, бережно, по-скупердяйски, нацедил немного в глубокую деревянную миску, после чего спрятал бочонок назад, а в мед долил воды, разбавив его таким образом раза в четыре. Покрытую полотенцем миску оставил на столе, а сам снял с полки ручную кофемолку, засыпал туда смесь семян тмина и острого перца, после чего долго и старательно молотил, пока не наполнился душистой мукой стальной стаканчик.

Это был ужин поединщика перед схваткой. Он ел медленно и задумчиво, аккуратно засыпая в рот щепотку муки и запивая ее разбавленным хмельным медом. Сначала кто-то постучал в дверь, через несколько минут – в окно, однако ничто не могло оторвать Ражного от этой ритуальной еды. Покончив с ужином, он сполоснул миску, вымыл руки и лишь после этого отбросил засов: он ждал, что первыми придут Максы, однако их опередил врач.

– Мы положили труп в эту шайбу, – сообщил он. – Но там не очень холодно. И крысы.

– Не тронут, – заверил Ражный. – Что еще?

– А утром точно будет транспорт?

– Этого не знает никто.

– Связи тоже нет? Радиостанция или сотовый телефон?

– На сотовый не заработал...

Доктор чуял, что разговор пустой и бесполезный, но не уходил, мялся у порога, исподволь озирая пространство дома.

– Извините, а поесть у вас ничего не найдется? – наконец решил он. – Сутки, как из дома...

Ражный молча взял лампу и повел в кладовую. Снял со стены пустую корзину, сунул в руки доктора и стал щедро бросать туда банки с тушенкой, сгущенкой, сухари и печенье в пачках. Изголодавшийся врач оживал, и вместе с ним оживала скромность.

– Да хватит, куда столько? – бормотал он. – На троих-то... Нам перекусить только...

Но в глазах светился примитивный человеческий голод, по молодости еще охватывающий разум. Ражный добавил пару банок деликатеса – тресковой печени, чем окончательно растрогал доктора.

– А почему вы спросили про ленту? – вдруг вспомнил он.

– Про какую ленту? – будто бы не понял Ражный.

– Да у этой, – кивнул на улицу. – У покойной... Должен сказать вам по секрету, она не была проституткой.

– Не была – так не была...

– Мало того, – тон доктора стал доверительным, – умершая оставалась девственницей.

– Ты что же, проверил? – недобро усмехнулся Ражный.

– Разумеется... – смутился он, четко уловив тон собеседника. – Когда делал осмотр. Там еще, в избушке, пока была жива... Так положено...

– И что же тут особенного?

– Вы же сказали, лента на шее, как у проститутки!

Открыв железный ящик, Ражный достал две бутылки водки и тоже положил в корзину. У доктора блеснули глаза от предвкушения, но природное смущение не позволяло откровенно порадоваться неожиданному и приятному обороту.

– Это уж слишком, – сказал он. – Даже неловко...

– Погреемся, помянете усопшую...

– Я промерз до костей! – счастливо выпалил врач. – Соточку пропустить самое то. Спирта нам теперь не дают!.. А вы с нами?..

– Дел много, – пожаловался Ражный. – Квартальный отчет для налоговой. Ночами сижу... Чайник и посуда есть в гостинице.

– Мы со старшим все нашли!

– А что младший?

Врач вынул белый сухарь из корзины, откусил, разгрыз крепкими молодыми зубами.

– Переживает... Блаженный!

– Ты присмотри за ним, – попросил Ражный. – А лучше заставь выпить стакан водки и уложи спать. Он спиртного, пожалуй, еще не пробовал. Должен сразу сломаться.

– Логично. – Доктор сам вынул из коробки банку красной икры. – Ему надо расслабиться.

Проводив его до охотничьей гостиницы, Ражный отметил, что братья уже сидят в зале трофеев – там горела керосинка и на картине пегие стреноженные кони паслись за сетчатой изгородью вдоль реки, где на солнце еще зеленела и цвела поздняя трава. Он выждал полчаса, наблюдая за окнами, где маячили три тени, после чего достал запасной ключ от «шайбы» и в полной темноте приблизился к каменному круглому строению посередине территории базы. Так назывался каменный сарай, где когда-то была электроподстанция. В зимнее время здесь остужали парное мясо битых лосей и кабанов, поэтому под потолком висели крючья, а бетонный пол был залит и пропитан почерневшей звериной кровью.

Он знал, что нечаянные гости на базе сейчас заняты случайным застольем, и потому действовал решительно. Тело Мили лежало на стопке поддонов из-под кирпича, как на постаменте. По-прежнему завернутое в мокрый пододеяльник, оно казалось маленьким и щуплым; свечение смерти довлело в пространстве и мешало дышать. Ражный нашел ее ледяную кисть у подбородка, скомкал тоненькие пальцы в своей огромной руке и замер.

Жизнь еще тлела в этой плоти, хотя она умерла несколько часов назад, что и констатировал профессиональный врач. Только по молодости и неопытности не заметил одной детали – не наступало трупного окоченения, поскольку кровь еще не сворачивалась в сосудах, не превращалась в печеньку, и мышцы сохраняли прежнюю эластичность, допивая остатки жизненной силы из этой крови, костей и позвоночника, как растения допивают мельчайшие частицы влаги в засушливую пору.

И выживают, даже если земля превращается в золу...

Плоть не была еще безвозвратно утраченной, и оставалась надежда на воскрешение, если бы витающая над телом душа проявила к этому волю.

Ражный простоял над Милей несколько минут – душа реяла под потолком «шайбы», цепляясь за мясные крючья, и тончайшая связующая цепочка, напоминающая жемчужную нить, – единственный ее корешок, еще касался плоти в области солнечного сплетения, оставляя путь к отступлению. Но утлая, иссохшая скорлупа – то бишь тело, не выражало ни малейшей охоты продолжать биологическое существование.

Она умерла не от воспаления легких и не от другой телесной болезни; диагноз был иной и весьма распространенный в текущее время, хотя никак не трактовался и не признавался современной медициной. Смерть наступила из-за крайнего противоречия между душой и телом, не совместимого с жизнью.

– Не стану будить тебя, спи, – сказал он и вышел, заперев дверь, направился домой.

И уже поднимался на высокое крыльцо, когда услышал озлобленный лай Люты и гул проволоки, по которой скользила собачья цепь. Кого-то носило ночью по территории базы – овчарка свой хлеб отрабатывала честно, знакомств с людьми не заводила и никому не доверяла, кроме своего хозяина – старика Прокофьева, и работодателя Ражного.

Он сбежал с крыльца, направляясь в обратную сторону, и тут заметил возле «шайбы» человеческую фигуру – кто-то ковырялся с замком на двери. Вероятно, хмель на братьев Трапезниковых подействовал не так, как хотелось, и вместо сна и утешения в скорби еще больше взяло за сердце горе. Наверняка это был младший Макс – старший умел сдерживать свои порывы и чувства.

Ражный подходил осторожно с мыслью отвести парня к себе и поговорить по душам, но вдруг там, у «шайбы», возникло какое-то стремительное движение, сдавленный человеческий крик, и в тот же миг все пропало. Когда он подбежал, возле мясного склада никого не было и замок оказался закрытым, услышать же топот ног мешал яростный лай Люты. Так и не поняв, кто подходил к двери и что здесь произошло, Ражный снял цепь с проволоки и привязал овчарку возле «шайбы»: нечего пацанам ходить ночью к покойной, даже если она – возлюбленная...

Возвратившись домой, он обнаружил на крыльце Молчуна, сидящего у двери.

– Ну, а теперь что? – недовольно спросил Ражный. – Мы же обо всем договорились.

Волк осторожно взял его за рукав и сомкнул челюсти, давая понять, что настроен решительно. Он попытался выдернуть рукав из пасти – зверь не отпустил, мало того, потянул к себе.

– Как это понимать?.. Ты же видел, я не успел, не застал живую. Она умерла. Я знаю, вы были друзьями... Ну и что? Мне тоже ее жаль... Но все равно она бы не смогла жить в этом мире. И в лесу бы не смогла, потому что – человек.

Молчун выслушал его, не выпуская рукава, и снова потянул с крыльца.

– Что ты хочешь? – уже рассердился Ражный. – Я же сказал, она умерла! Ей не нашлось места, понимаешь? Жить среди людей – значит продаваться. Торговать душой и телом. А здесь она скоро бы озверела. Вот так, брат. Смерть для нее – спасение...

Увидев в ответ жесткую зелень в волчьих глазах, он вскипел, вырвал руку, оставив в пасти клочок камуфляжной куртки.

– Ты зверь, понял?! Только зверь! И не смей больше вмешиваться в человеческую жизнь! И в смерть тоже! А ты уже раз вмешался!.. В лес. Иди в лес и не показывайся на глаза!

Волк склонил голову перед вожаком, поджал хвост и, когда Ражный ступил через порог, обиженной походкой спустился с крыльца и тотчас же скрылся в темноте. Поведение его было порывом отчаяния, а значит, слабости, никак не сочетающейся с волчьей жизнью. Правда, следовало учесть, что Молчун почти с самого рождения познавал и выпитывал не звериный, а человеческий образ жизни и, надо сказать, перенимал не лучшие его стороны, поскольку слабость губила всех одинаково, зверей и людей. Но отпущенный на волю, он больше не имел права на чувства – иначе его ждал бы такой же печальный конец, как и девицу со старинным и редким именем Милитина...

Визит Молчуна разозлил и обескуражил его одновременно, и, чтобы отвлечься от мыслей, вызывающих дисгармонию, Ражный стал думать о предстоящем поединке и сразу забыл обо всем. Заложив двери на засов, он вошел на поветь и, не зажигая света, стал готовить станок для работы. Для этого требовалось совсем немного времени – поднять и поставить каждый противовес на сторожок, чем-то напоминающий шептало в ружейном механизме, после чего сковать себя по рукам и ногам. Остальное уже никак не относилось к дедовской технике и зависело от воли и самоорганизации. Нехитрое это устройство могло возвысить человека, поднять и ввести его в состояние Правила, но могло превратиться в орудие казни – попросту разорвать на части.

Основная подготовка к взлету проходила днем, при свете солнца, когда он впитывал его энергию. Человеческий организм, точнее, костяк, представлял собой самую совершенную солнечную батарею, способную накапливать мощнейший заряд. Иное дело, сам человек давно забыл об этом, хотя интуитивно все еще тянулся к солнцу, и потому весной и стар и млад – все выползали на завалинки, выезжали к морю, на пляжи и бессмысленно тянули в себя миллионы вольт, если солнечную энергию можно измерять как электрическую. Бессмысленно, поскольку энергия эта оставалась не востребованной по причине того, что была утрачена способность высвободить ее и управлять ею.

Чтобы достигнуть предстартового состояния, следовало полностью абстрагироваться от действительности, отключиться от всего, что было важным, значительным еще несколько мгновений назад, избавиться от земного. Одним словом, совершить то, чего в обыкновенной жизни сделать невозможно – уйти от себя, как это делают монахи, чтобы служить Богу. Поэтому старых поединщиков по древней традиции, заложенной еще отцом Сергием, называли иноками, то есть способными к иной, бытийной, жизни.

Через каждые три подхода к этому станку груз уменьшался – из мешков выпускался песок. Тренажер можно было разбирать и прятать в сухое место после того, как опустеют все мешки и когда аракс начнет вздыматься над землей без помощи противовесов и в любом желаемом месте...

Пока еще Ражный был на середине пути и на каждом конце веревки висело по три центнера речного песка. А времени до поединка оставалось совсем мало – чуть больше трех недель, если не считать дорогу до Урочища где-то в районе Вятских Полян.

Длина веревок позволяла лежать на спине или на животе, раскинув звездой руки и ноги. Всякое неосторожное движение или даже мышечная судорога могли сорвать с шептала один из противовесов, и тогда сработают остальные, разрывая на части неподготовленное тело, поэтому он почти не шевелился, и лишь изредка от солнечного сплетения к конечностям пробегала легкая конвульсивная дрожь, напоминающая подергивание электрическим током. И чем больше и чаще пробегало этих энергетических волн, тем сильнее расслаблялись мышцы, крепче становились суставные связки и жилы, и как только из позвоночника и мозговых костей начинали течь ручейки солнечной энергии, брэнная плоть теряла вес.

То, что монах достигал постами и молитвами, поединщик получал за счет энергии пространства, напиваясь ею и равномерно распределяя по всему скелету, в точности повторяя магнитные силовые линии.

Через некоторое время воздух, соприкасаясь с телом, начинал светиться, образуя контурную ауру, и когда она, увеличиваясь, образовывала овальный кокон, аракс резко отталкивался всей плоскостью тела от опоры и взлетал, несомый противовесами.

Или подъемной силой достигнутого состояния Правила...

Сейчас Ражному пришлось лежать более получаса, прежде чем в полной темноте он начал видеть очертание собственной груди. Оставалось немного, чтобы преодолеть земное притяжение, когда издали, из мира, ушедшего в небытие, ворвался душераздирающий вопль. Так кричат смертельно раненные травоядные, ибо хищники чаще всего умирают молча.

Возврат к реальности был стремительным, накопленная энергия ушла в пространство вместе с единственным выдохом, на миг высветив чердачные балки. Тотчас запахло дымом: делать «холостой» выхлоп энергии было опасно...

Вопль повторился, но теперь уже близко, сразу же за стеной – тоскующий, зовущий голос – и следом долгий отчаянный стук в дверь. Пока Ражный снимал путы, младший Трапезников стучал и кричал исступленно, безостановочно, и гончаки в вольере, реагирующие на каждый шорох или нестандартное поведение, при этом хранили полное молчание.

Дождь на улице разошелся вовсю. Макс напоминал мокрого молодого зверя, потерявшего свою нору.

– Входи, – разрешил Ражный.

Парень переступил порог и остановился, не зная, куда идти в полном мраке. Пришлось вести его за руку, а когда в доме загорелся свет, он закрылся рукой и прилип к стене. На бледном, вытянутом лице оставались одни огромные и почти безумные глаза. Ражный подал ему миску с остатками разведенного хмельного меда, однако Макс сопротивлялся, выставя руки:

– Нет! Не буду! Не хочу! Вино не помогает!.. Станет еще хуже, я знаю.

– Это не вино, попей. Это напиток, дающий силы.

– Снадобье? Лекарство?..

– Можно сказать и так...

Он взял миску, понюхал. Отхлебнув, попробовал на вкус и выпил залпом.

– Это ты ходил к «шайбе» недавно? – строго спросил Ражный.

– Нет, я не ходил, – виновато проговорил младший Макс.

– А кто ходил?

– Не знаю... Я лежал на земле.

– Где остальные?

– Не знаю...

– А что ты знаешь?

– Знаю, что беда пришла, дядя Слава, – сказал обреченно. – Я погибаю.

– Держись, ты мужчина. – Он силой усадил парня на скамейку. – Привыкай. Иногда жизнь бьет сильнее.

– Сильнее не бывает. Я люблю ее. Мы с Максом ее любим... Дядя Слава, а ты тоже считаешь, мы виноваты?

– Нет, я так не считаю, – заверил он. – Но почему мне ничего не сказали? Когда нашли ее в лесу? А ведь еще в прошлом году нашли, верно?

– Верно...

– Ты же знал, что я ищу Милю? Знал и обманывал меня.

– Мы не обманывали! – вскричал Макс. – Она попросила, чтобы не говорили... А потом, когда поймали ее, ты уже не искал. И никто не искал...

– Поймали?..

– Она сначала боялась нас, не давалась в руки, не подпускала близко... – Вспоминая, он на минуту оживился. – Но мы ее приручили. Мы срубили ей домик, избушку на курьих ножках, железную печурку поставили, с дровами. А была уже осень, снег выпадал... Она все еще босая ходила и мерзла. И не стерпела, забралась в избушку и уснула. Там дверь была от медвежьей западни, отец научил. Захлопнулась намертво, изнутри не открыть... Мы стали ее кормить, разговаривать, и она скоро привыкла.

– Отец знал, что поймали?

– Не знал... Дядя Слава, она сама не хотела выходить к людям! Мы ей говорили, упрашивали хотя бы на зиму к нам пойти жить – не пошла.

– Я верю.

– Она была такая прекрасная!.. Мы приезжали каждый день, чтобы полюбоваться. Ей же было скучно одной жить. Привезли радиоприемник, но она выкинула в печку... А этот врач говорит, будто мы лишили ее свободы и... насильовали!

– Он вас пугает, потому что сам боится, – успокоил Ражный. – Ты же видишь, он обыкновенный шакал.

– Никогда не видел шакалов. – Макс вскинул мутные глаза. – Они же у нас не водятся... Дядя Слава, помоги нам! Сделай что-нибудь!

– Я уже однажды вам помог. Устроил призыв в армию. А вы сбежали и живете, как дезертиры.

– Мы пойдем в армию! Выйдем и сдадимся!.. Только помоги!

- В тюрьму теперь пойдете сначала. Потом в армию.
- Пусть... – тихо вымолвил он. – Выручи, дядя Слава. Ну еще раз!.. Говорят, ты – колдун.
- Я колдун?
- Дядя Слава, ты не обижайся, я слышал от людей. Про тебя еще говорят – демон. И дом этот весь... в нечистой силе.
- Что же ты тогда просишь? Если я демон и связан с нечистой силой? – обиделся он.
- Я ни при чем, так люди говорят, – растерялся Макс. – Но я все равно верю: ты не простой человек. И если демон, то добрый демон...
- Все не простые, брат. Если глубже копнуть человека.
- Однажды я видел тебя... в волчьей шкуре.
- Где видел? Когда?
- В прошлом году. Мы с Максом ехали по лесу, на смолазавод. А ты в дубраве был... Мы тогда так испугались. И кони испугались, понесли. Помнишь, у меня еще перелом был?
- Фантазер ты...
- Помоги мне, дядя Слава. Видишь, я погибаю! Может, до утра не доживу...
- Доживешь!.. Потом послужишь в армии...
- Я знаю, ты можешь оживить Милю, – горячим шепотом произнес младший Трапезников, дыша в лицо запахом весенней земли. – Если захочешь. Она же не совсем еще умерла, правда? Это врач сказал – смерть! А мне кажется, в ней есть жизнь. Только как искорка... Помоги, оживи ее! Я никому не скажу! Даже родному брату! Никому! Пусть считается, сама ожила. Ну бывает же такое!
- Бывает...
- Ну вот! – Его дыхание затрепетало от надежды и нетерпения. – Не знаю, колдун ты или демон, какая сила в тебе – чистая или нечистая. Но молю тебя – оживи! Ты можешь. Я знаю! Верю! А иначе сейчас пойду к «шайбе» и умру возле нее. Чтобы похоронили нас вместе.
- Сказано это было с блеском в глазах и высоким достоинством, так что Ражный поверил: не воскресить Милю – этот парень умрет.
- Понимаешь, брат... Никто не имеет права делать этого, – проговорил он, хотя уже понимал, что любые отговорки не будут приняты. – Наверное, ты слышал: люди рождаются и умирают по Промыслу Божьему. Какой бы смерть ни была... Миля скончалась не от воспаления легких, а по другой причине... Ты не поймешь, почему...
- Нет, я знаю, отчего! – загорячился Макс. – Ты думаешь, если я не учился в школе и совсем не образованный, так не знаю? Да я давно почувствовал, что Миля умрет!
- Ты меня слышишь?! – Ражный потряс его за плечи. – Никто не может воскресить твою Милю! Никто!
- Но я вижу в тебе силу!.. Ты сможешь! Люди говорят, твой отец умел поднимать мертвых. Ведь это правда?.. Значит, и ты знаешь!
- Нельзя верить молве, люди выдают желаемое за действительное.
- Фелиция видела, как ты оживил птицу. Замерзшую птицу! И потом ей подарил. И птица жила у нас до весны!
- Да я ее просто отогрел!
- И Милю отогреешь!
- Человек не птица!
- У меня ключ от «шайбы», – вдруг сообщил Макс. – Сейчас я пойду, лягу рядом с Милей и умру.
- Хорошо, – почти сдался Ражный. – Но если, воскреснув, она снова захочет умереть?
- Не захочет.
- Допустим, я поверил... Но запомни: со второй смертью умрет и ее душа. Так устроено... Все, кого вытаскивают с того света, реанимируют, выводят из клинической смерти, вли-

вают чужую кровь, чтоб спасти, пересаживают внутренние органы – все потом гибнут вместе с душой. Они как утопленники или самоубийцы... Ведь Миля все равно когда-нибудь умрет, например от старости... Ты не пожалеешь об этом?

– Люблю ее! – клятвенно воскликнул он. – И Макс любит!

– И ты такой же... Боже, почему в этом чувстве так много эгоизма?

Парень ничего не слышал, поскольку, чувствуя, как Ражный соглашается, уже дрожал от нетерпения.

А возможно, слышал и не понял ничего...

– Помоги, дядя Слава! Подними ее! Ты ведь умеешь, я вижу!

Ему показалось на миг, что глаза у парня стали по-волчьи пристальными, а взгляд пронзительным; он и в самом деле что-то видел...

– Послушай меня, Максим...

– Я не Максим!

– Ну хорошо, Максимилиан. Не сходи с ума, возьми себя в руки, ты взрослый парень...

– Не хочу ничего слушать! Оживи ее!

На улице вдруг залаяли гончаки в вольере, однако сторожевая и чуткая Люта отчего-то помалкивала. Кто-то взволновал их, встревожил, но, судя по голосам, лаяли они не на человека. Мало того, обычно визгливая Гейша, словно откашлявшись, завывала баском.

– Ладно, пошли! – послушав этот хор, согласился Ражный. – И ты увидишь, что это невозможно. Поскольку она мертва, понимаешь? И нет такой силы у меня, чтобы снова вдохнуть жизнь.

На улице младший Трапезников не отставал, двигался тенью и, кажется, тихо смеялся от предвкушения счастья. Люта сидела там же, где была привязана – у «шайбы», и помалкивала, пугливо забившись в чертополох под стеной.

– Что это с тобой? – спросил он настороженно и осмотрелся.

Овчарка заскулила и по-волчьи спрятала голову в траву.

Отомкнув «шайбу», но еще не открывая дверей, Ражный услышал тихий, утробный вой и потому, обернувшись назад, сказал в темноту:

– Стой здесь...

Плотно притворив за собой дверь, он зажег спичку и, шагнув вперед, увидел зеленое свечение глаз. Милю вносили, как и положено, вперед ногами, и потому она лежала сейчас головой к выходу, тело ее пульсировало, а над ним стоял волк и, вскинув морду, пел торжественную песню.

Видение длилось столько, сколько горела спичка...

2

Покойное блаженство и состояние восторга оборвались в тот самый миг, когда неведомая, конвульсивная сила вытолкнула его наружу, швырнула на жесткую землю, и в первый момент, неподвижный, больше похожий на сгусток крови и слизи, он оказался под солнцем, в мире, который давно и отчетливо чувствовал сквозь материнскую плоть. Он сделал первый вдох, и нестерпимая огненная боль разлилась по телу, толкнулась в слабые конечности и опалила голову.

И, полумертвый, он вскочил на ноги, вытянулся и пополз вперед, волоча за собой пуповину. Не заскулил, ибо не обрел еще голоса – лишь тяжело задышал, вгоняя в себя жгучий воздух, и вскинул ушастую, большую голову. Он был еще слеп, однако яркий свет и сквозь плотно закрытые, спеченные веки показался таким же палящим и болезненным, как воздух, и не было в этом только что обретенном мире ничего веселого и радостного!

Но вот язык измученной родами матери – щенок был в два раза крупнее обычного волчонка – достал его головы, стремительно и нежно пробежал по глазам, влился в пасть, ноздри, потом в уши, освобождая от сохнувшей крови, мягко скользнул по шерсти, и происходило чудо – боль снималась от малейшего прикосновения, и на смену ей вливались сила и ощущение восторга. Сам того не ведая, он издал первый звук, напоминающий еще не звериный рык – тихое, довольное урчание, прижимался к языку, подставлял шею, бока, затем, перевернувшись на спину, раскинул лапы, отдавая матери живот. Мать пока что состояла из одного этого языка и представлялась спасительным ласковым существом. Одним движением она уладила огонь в груди, и он уж было расслабился от блаженства, как язык подобрался к пуповине и тут обнаружились материнские зубы. Острая, содрогающая боль вновь пронзила его, подбросила вверх, и в следующий миг он ощутил свободу.

С матерью теперь больше ничего не связывало... Вместе с утратой пуповины он всецело погрузился в существующий мир: в одночасье открылись слух и обоняние. Вылизанный, но еще мокрый, на неустойчивых лапах, он стоял на земле, явленный из небытия, и вкушал первые прелести жизни. Вокруг были плотные заросли крапивы и сухого, прошлогоднего малинника, выросших на дне ямы, под ногами битый кирпич, уголь и ржавое железо – все, что осталось от разрушенного человеческого жилья. Так что в первые минуты жизни он вкусил запахи человека, поскольку родился не в логове, а в старом подполе брошенной деревни. Он еще не знал человека, но уже чувствовал его вездесущую суть, будто мир этот всецело принадлежал только ему: в небе слышался воющий гул, откуда-то наносило едким, смолистым дымом, и от слепящего низкого солнца летели частые, визгливые голоса.

Над брошенной деревней показался вертолет с распахнутой дверцей, откуда виднелись люди с ружьями. Первенец не видел их, но почуял приближение человека, поднял голову и внезапно обрел голос зверя – зарычал в небо, выдавая свое местонахождение. И наверняка получил бы трепку от матери, но она в тот миг была занята собой: раскорячив задние лапы, судорожно выгнулась, застонала и произвела на свет еще одного звереныша. Осклизлый ком зашевелился на примятой крапиве и тоненько заскулил. А вертолет между тем неторопливо наплывал от леса, прибывая к земле траву мощным, сбивающим с ног потоком воздуха – мать не дрогнула, лишь прилегла, вылизывая детеныша. Откуда-то сверху на первенца свалилось нечто жесткое, стремительное и сильное, сбilo на землю, чуть ли не втоптало в сухую древесу. Потеряв ориентацию, он перевернулся несколько раз, закатился в яму и, когда вскочил, – ощутил рядом присутствие еще одного зверя – отца, вернее, его раскрытую пасть над собой. Он приподнял новорожденного за холку, коротко лизнул, но только выпачкал, ибо кровь у него стекала с головы, с выпущенного языка и мешалась с родовой кровью.

Зверь лег, кося глаз к небу, и волчица, оставив новорожденного, принялась вылизывать раны на голове отца. Он зарычал на нее, и когда тень от ревущей машины достала ямы, внезапно выскочил из крапивы и помчался вслед за этой тенью.

К нему присоединилась еще пара, до того бывшая в траве и не смевшая приблизиться к яме, – переярки, ее прошлогодние дети, бродящие за родителями на некотором расстоянии.

Первенец неуклюже пополз за ними, путаясь в траве, и прежде чем выбрался из обрушенного подпола, несколько раз свергался с трухлявых бревен, торчащих из земли, пока не помог себе пастью, цепляясь игольчатыми зубами за корни трав и примятый малинник. Вертолет плясал низко над землей, и с его борта хлестко гремели сдвоенные выстрелы. Люди стреляли по кустарнику, по нагромождению досок и бревен, вдоль старых, вросших заборов; они словно прощупывали свинцом землю, пока не вытолкнули переярков на чистое место.

Вертолет полетел боком, развернулся, и с борта вновь загрохотало. Тот, что ринулся вдоль деревни, попал под выстрел сразу же, а другой, бегущий к лесу, еще долго петлял по траве, резко меняя направление, и пал на самой кромке березовой рощи.

Совершив победный круг, охотники приземлились, забросили в машину переярков и пошли рыскать, выискивая матерого волка. А тот сидел плотно, невзирая на выстрелы, прощупывающие любое возможное укрытие, и рев низколетящей машины. Бесплезно покрутившись около получаса, вертолет вновь сел на чистом взгорке, далеко от вынужденного логова, три человека из команды стрелков спешили, остальные поднялись в воздух.

Мать безбоязненно следила за людьми из крапивы и продолжала заниматься своим делом.

Теперь охота началась с земли и с воздуха. Брошенную деревню прочесывали вдоль и поперек, лазили чуть ли не в каждые руины, оставшиеся от домов, обследовали ямы, накренившиеся заборы, и вертолет чутко отслеживал все действия, мотаясь над головами. И когда они приблизились к логову с волчицей, матерый внезапно выскочил прямо на охотников и заставил их залпом разрядить ружья, после чего пронесся между ними, сделал свечку и пополз в траву. Люди закричали, круто развернулись назад, пошли добирать подранка. Их поддержали с воздуха, гвезда выстрелами землю и тем самым до смерти напугав земных. Они залегли, замахали кулаками в небо, закричали, словно их бы там услышали. В машине сообразили, что делают глупость, отлетели в сторонку, зависли, и тут спрятавшийся в траве волк вновь сделал свечку и понесся к лесу. Люди пальнули по разу ему вслед и побежали догонять, боязливо поглядывая на вертолет. Матерый мелькал в сотне шагов от них, двигаясь зигзагами, появляясь то в одном, то в другом месте, и создавалось впечатление, что бегут несколько зверей. Их крестили выстрелами, но не прицельно, с ходу и слишком азартно, чтобы попасть.

Почти не таясь, волчица стояла на краю ямы и смотрела на все это со стоическим спокойствием, и едва слепой детеныш выполз к ней, как мать скинула его обратно в яму.

Прищуренный звериный взгляд буравил спины людей, и при этом в полном безветрии трава между волчицей и бредущими цепью охотниками слегка шевелилась, словно от дуновения приземленного тягуна, образуя белесую полосу. И из этой полосы уходило все живое – порскали в разные стороны мыши, прочь уносились мелкие птахи, и дождем сыпались кузнечики.

В этот миг произошло невероятное: один из охотников, угодивший под странный ветерок, вдруг исчез, в буквальном смысле провалился сквозь землю. Двое других прошли еще несколько метров, остановились и забеспокоились. Крик их стал тревожный, будто у потерявшихся детенышей. Потом они беспорядочно и резво забегали, и теперь уже матерый, замерев у поваленной изгороди, стоял и взирал на человеческую суету.

А они наконец обнаружили пропавшего собрата – на дне глубокого, заброшенного колодца, откуда доносился слабый писк. Веревки у них не было, и тогда люди сорвали провода с накренившегося столба, засунули их вниз, однако спускаться по тонкой проволоке никто

не решился. Увидев странную заминку на земле, вертолет пролетел над их головами и пошел на посадку – почти рядом с логовом.

Первенец все же еще раз выбрался из подпола, но его сшибло в яму потоком воздуха, запылило глаза, забило дыхание, и когда он пришел в себя и проморгался, то снова увидел невозмутимую, равнодушную ко всему происходящему мать, тщательно вылизывающую сразу двух детенышей. Как и первенцу, она снимала родовую боль, чистила глаза, уши и пасти, однако не освобождала от себя, не отпускала на волю, и щенки ползали возле матери, волоча за собой сине-малиновые пуповины.

Вертолет сел, всколыхнулась и мелко задрожала земля, весенний травяной сор и земляная пороша достали подпол, накрыли тучей и на какое-то время скрыли от человеческих глаз все пространство покинутой деревни.

И в этой вселенской мути, поднятой человеком, он почувствовал, как мать начала пожирать послед – вместилище того недавнего счастья и благоденствия, длившегося всего-то два месяца. Хватала жадно, как добычу, втягивала в себя свою плоть и, когда остались лишь тесемки пуповин, на концах которых, как на привязи, вдруг заметались, забились и заскулили детеныши, чувствуя смерть, сделала паузу, проглотила с натугой и решительным, сильным движением челюстей одного за одним отправила в свою утробу только что вылизанных, но не отпущенных щенков.

Косточек еще не было, а если и были, то что-то вроде куриных, мягких хрящиков, и потому, собственно, рожденная добыча исчезла без звука.

Первенец произвольно отскочил, будучи свободным, оскалился. Он ненавидел мать; в мгновение ока он сделался зверем, родства не помнящим, ибо еще ни разу не приложился к ее сосцу и существовал той силой, что получил, находясь в ее чреве. Он готов был драться за свою собственную, уже вольную жизнь, принимая ее такой, какая она есть. Он ощерил игольчатые, острейшие зубы, по врожденному, данному матерью же инстинкту борьбы, чтобы вцепиться в горло, не осознавая, что не может даже сомкнуть челюсти из-за длинной, линияющей шерсти.

Он изготвился к смертельной схватке, но сам был схвачен за загривок единственно верным и точным движением. Сильная шея вскинула его высоко над землей – так высоко, как летала воющая, с торчащими стволами машина. И начался полет под прикрытием пыли и сора, поднятых силой человеческой – машиной, способной преодолевать земное притяжение.

Первенец ощущал, как неслась под ним весенняя, поникшая и еще не расцветенная земля. Под материнскими ногами мелькали травы, дорожные колеи, заполненные светлой водой, поникшие заборы, ямы, заросли крапивы и лопухов, и на короткий миг он вновь испытал ощущение радости – точь-в-точь как в утробе, до рождения, когда они уходили от погони человека.

Поднятая винтами пыль и падение охотника в колодец скрыли этот побег, и веселый, торжественный полет продолжался более часа, пока холка, прикушенная материнскими зубами, не онемела и не потеряла чувствительности. Она бросила его на землю и, мгновенно забыв о детеныше, принялась вылизываться сама и кататься по земле, вбирая в себя запахи окружающей местности. Первенец сильно ударился о корневиче – захватило дыхание. И как в момент рождения, жгущая боль, только сейчас в груди, охватила его, однако он вытерпел и не заплакал, а от враз прихлынувшей злости стал грызть то, что принесло эту боль, рвать короткий мох и редкую траву, забивая себе гортань. И нажравшись земли, полузадушенный, он засипел, закашлял, а по сути, залаял по-собачьи, отчего шерсть матери на загривке встала дыбом. Она подлетела к первенцу, трепанула за шкуру и ударила о дерево еще сильнее.

Он же приземлился на ноги и зарычал, отхаркивая песок.

В тот же момент с матерью что-то произошло. Выстелившись перед ним, она откинула заднюю лапу, подставляя сосцы. Первенец еще не ведал вкуса молока и, прежде чем ощутить его, вцепился, вгрызся в вымя, жала зубами нежную кожу, готовый порвать материнский

живот. Волчица вздрогнула от боли, заклекотала горлом, однако смирилась и с родовой потугой стала отдавать молозиво. Густая творожная каша, разбавленная кровью, впитывалась в его естество, начиная с языка и до пустого, еще не развернутого желудка. Он тянул ее долго, бросая один и хватая другой сосок, кусал, мял и терзал нежную плоть, пока не опустело вымя. Круглый, бочкообразный, он откатился от матери и мгновенно заснул, но она не оставила в покое – вновь схватила за холку и понесла дальше, спящего.

Древний, необоримый инстинкт толкал ее к поиску безопасного места, каковым могло быть лишь испытанное временем логово, скрытое на длинной, узкой гриве среди огромных зарастающих вырубов и болотистой земли, изрезанной ручьями, – то самое, где волчица сама появилась на свет. А ее место, где она щенилась и несколько лет выхаживала потомство – укромный молодой ельник среди старых порубок близ покинутой людьми деревни, в этом году оказался ненадежным и даже коварным: охотники с вертолета засекли волка, идущего с добычи, но не стали преследовать, а лишь отбили его направление и навели пеших: с воздуха рассмотреть логово было невозможно. Завидя машину, перегруженный пищей волк срыгнул половину мяса, облегчился и стал путать следы, отводя от ельника, но пешие стрелки точно вышли на его след, нашли отрыжку и затаились неподалеку. Матерый же, изрядно покрутив по вырубкам, пришел к волчице, скинул остатки мяса и истекал слюной, наблюдая, как она ест. И потому, утратив осторожность, побежал назад – туда, где оставалась половина отрыгнутой добычи. Он ждал опасности с воздуха, но выстрелы поджидали его на земле: трое стрелков отдулелись по нему крупной картечью, и от мгновенной смерти спасли густые заросли осинника, принявшие на себя большую часть зарядов. Однако досталось изрядно, от головы до репицы хвоста простегнуло вразброс, так что опрокинуло набок и на короткое мгновение повергло в шок. Крепкий на рану, волк вскочил и порскнул в чащобу – прочь от логова, где волчица готовилась рожать, но охотники не пошли добирать подранка, а с ружьями наперевес направились к ельнику с трех сторон, точно зная, что там добыча более реальная и богатая – волчата. Тогда он сделал еще одну попытку взять людей на себя, пересиливая страх и мерзость, настиг их, обошел стороной и внезапно возник на пути. Еще пара выстрелов сквозь кустарник добавила несколько картечин, из пасти заструилась кровь, сбилось дыхание, но он даже не прибавил шагу – продолжал трусить неторопкой рысью, намереваясь увлечь охотников за собой.

Они же упрямо рвались к логову и бросили его во второй раз...

А волчица в гнезде слышала не только выстрелы – неосторожный хруст валежника под ногами, потаенные шаги и человеческое дыхание с трех сторон, однако сидела под лапником, на кабаньем зимнем ходу до последнего мгновения. И лишь когда все трое почти сошлись в одну точку, сделала стремительный рывок и легко ушла от выстрелов. Еще бы несколько минут, и была бы в полной безопасности – гнать по захламленному вырубам люди бы не стали, однако за спиной, в небе послышался знакомый, гулкий рев машины...

Теперь память тянула ее в место более надежное, в материнское логово – на лесистую гриву среди верховых болот. Длинный день наконец-то догорел, охотники погрузили в вертолет вынутого из-под земли сотоварища и улетели; впереди было самое удобное место для перехода – серый, призрачный вечер. Не дожидаясь матерого, она подхватила щенка и неспешной рысью, малым ходом пошла на север. Расстояние в сорок верст она могла бы одолеть за несколько часов, но роды ослабили волчицу, к тому же спасительная энергия движения сейчас терялась чуть ли не вполовину, перерабатываясь в молоко.

Едва потухла заря, как спящий детеныш проснулся и недовольно заворчал, показывая рыбы зубы, и вдруг изловчился, выгнулся, будто змея, и вонзил их в щеку. Мать инстинктивно мотнула головой и отшвырнула первенца; перевернувшись в воздухе, тот угодил в муравьиную кучу и тут же был выхвачен обратно. Волчица отнесла его подальше от шевелящегося холмика, откинулась навзничь, подставляя детенышу соски. Молоко, рассчитанное на три голодных рта, истекало произвольно и, путаясь в редкой, мягкой шерсти, капало на землю. Везде

сущие, как люди, насекомые, почуяв сладость, в тот же час накинулись на дармовую пищу, поползли с земли к сосцам, прильнули, выпивая волчью силу, и мать не сгоняла, не страхи-вала их, ибо повиновалась древнему закону существования и сожительства многих природных начал.

И не почувствовала, кто высосал из нее больше...

К полуночи она достигла болотной гривы. Не отрывая носа от земли, вдыхая родные запахи и повинаясь их зову, отыскала логово и внезапно легла неподалеку от него: надежное, сакральное место было занято ее матерью с детенышами, и их отец – пришлый волк-одиночка, стоял на страже.

Волчица выпустила первенца, раскинулась перед ним, отдавая молоко, а волк, скрады-вающий гостью, тотчас же оказался рядом, присел, прижал уши, вздыбил холку, затем властно приблизился, обнюхал гостью и немо оскалил матерые, знобкие клыки.

Детеныш ничего не видел и не слышал, занятый продлением жизни и увлеченный пищей; она же, отчаявшись, тоже окрысилась на материнского супруга, но в тихом урчании слышалась мольба о спасении.

Сказано было много и определенно, да только взрослый, сильный самец ничего не хотел знать, показывая ощеренными зубами свою решимость. Мать сдалась без боя, сникла, расслабилась, и ток молока вдруг прекратился, и напрасно первенец кусал и грыз ослабшие, вялые соски. Тогда он озлился, оторвался от вымени и, исполнившись решительности, сделал предупреждающий скачок в сторону чужого зверя. И тут произошло невероятное: матерый волк вскочил, насторожил уши и, склонив голову, воззрился на малого, совершенно немо-ного соперника. Хватило бы короткого удара челюстей, чтобы перекусить щенка, но защитник логова внезапно отступил назад, прильнул к земле, разглядывая волчонка, после чего подтянул живот и вдруг изрыгнул из себя шмат кровавого, свежего мяса.

И отошел в сторону, глядя со спокойным достоинством. Перенец набросился на отрыжку, да не по зубам было, только вылизал сукровицу и чужой желудочный сок. В тот же миг мать отпихнула сына и в мгновение ока проглотила двухкилограммовый кус.

Это была плата, расчет за спокойствие семьи. Следовало бы уйти восвояси, однако волчица села перед супругом матери и низко, до земли, опустила голову, просила снисхождения перед смертельной угрозой потомству. Он снова ощерился, теперь с явственным предупреждающим рыком, после чего развернулся и со злобной оглядкой потрусил к логову. Впервые волчица дрогнула, жалобно заскулила; тяжелое горе, обрушившееся враз, – бездомность, гибель переярков и прибылых щенков, которых пришлось умертвить, не освободив от пуповины. По сути, пропала охотничья стая, ибо отцом потомства был тоже волк-одиночка, который не изменит своим привычкам и к осени покинет ее; безрадостное будущее – все до кучи, придавило ее к земле, заставило на какой-то срок забыть о детеныше. Тот же, не ведая еще никаких разочарований, кроме огненной боли в момент рождения и голода, нюхал землю вокруг матери и отфыркивал запах чужих следов, отчего шерсть на загривке сама собой становилась дыбом.

По-бабы наревевшись, она натужно поднялась, уныло посмотрела в разные стороны, послушала ночных птиц и вдруг решила – принялась лизать первенца, приглаживая вздыбленную холку, мокрую от росы мордашку и подхвостье. Он сунулся было ей под брюхо, к сосцам, но резкий толчок носом откинул щенка в сторону. Тогда первенец сделал еще одну настойчивую попытку, зайдя сзади, и почти достал вымя и снова был отстранен недружелюбно и жестко.

И при этом материнский язык продолжал ласкать, умиротворять его, скользя вокруг шеи и ушей.

Тут он внезапно понял и причину смены отношения волчицы, и эти ее прощальные ласки – отскочил, ощерился, как недавно матерый зверь. Он готов был сражаться с матерью! Он протестовал против великой несправедливости – быть умерщвленным тем, кто дал жизнь!

Она же играючи придавила детеныша лапой к мягкой, болотной земле, вылизала брюшко, словно говоря, что смерть эта – реальная необходимость и будет мгновенной, легкой, в момент ласки и блаженства. Первенец сжался в комок, дернулся, вдавился в мох и вывернулся из-под лапы.

В тот миг свершилось чудо – он прозрел до срока. Прозрел и увидел звериный оскал матери.

Он барахтался, сучил лапами, отмахивая смерть, а она надвигалась, такая же болезненная и неотвратимая, как рождение. Но что-то случилось, произошло непредвиденное: волчица внезапно оставила первенца, легко перемахнула через него и замерла в боевой стойке.

Детеныш встал на лапы – матерый зверь вернулся, исполненный решимости и злобы. Он шел на волчицу, ступая расслабленно, мягко и тем самым скрывал мгновенную и мощную силу броска. Мать вынужденно пятилась, прижимая уши, и неуклюже натыкалась задом на кусты и деревья, на какой-то момент они оба забыли о щенке, и он предусмотрительно отполз в сторону, предчувствуя схватку. Волк выбрал мгновение, превратился в бугристый ком молниеносной энергии и прыгнул. Казалось, всего лишь прикоснулся к матери и тотчас же отскочил, но первенец сразу же почуял запах крови. Волчица жалобно простонала и, прижимаясь к земле, поползла в кочки; из вспоротого живота, словно пуповина, тащились выпущенные кишки.

А зверь тем временем потянул носом воздух и той же крадущейся походкой направился к детенышу.

От чужака исходил запах смерти. И как ни странно, он был похож на запах пробуждающейся весенней земли...

Волк остановился на расстоянии прыжка, словно взвешивая свои возможности – ударить, как и положено в бою с противником, в броске или просто подойти, задавить щенка и принести его своим детям для игр.

Звереныш отфыркнул пугающе мерзкий запах смерти и зарычал.

Должно быть, это показалось матерому волку забавным, и он ответил угрожающим рыком, стараясь вызвать страх. И вызвал. Но от страха только что прозревший детеныш ощутил в себе истинную волчью дерзость и безрассудство. Еще немоющее, слабоуправляемое тело налилось силой, щемящая, жгучая ярость, сходная с болью от рождения и первого вдоха, охватила его и толкнула вперед. Прыгнул он неловко, недалеко и сразу же провалился в зыбкий мох, однако этот слабый скачок заставил опытного зверя встать в боевую стойку. Прижав уши и оскалившись, он чуть сдал назад, напружинил лапы, готовый одолеть последние метры одним броском и повергнуть противника. И это уже была не игра – готовилась настоящая схватка!

Но в тот миг откуда-то сбоку внезапной искристой стрелой, не касаясь земли, вылетела волчица и намертво захватила холку матерого волка. Он не ожидал нападения, сосредоточившись на детеныше, и потому опрокинулся; серый сгусток энергии мышц и дребезжащего звериного крика подкатился к волчонку. Мать стремилась перехватить за горло, и тогда бы больше не разжимала челюстей до последнего, судорожного толчка агонии, однако противник только и ждал этого, чтобы вырваться из насмерть закусенных на шее клыков. Она делала стремительные и короткие движения челюстями, передвигаясь вниз, и лишь грызла, жевала сильную, мускулистую шею врага. А тот, в свою очередь, изматывал волчицу, заставляя ее много двигаться вслед за ним и вытаскивать, выматывать из себя кишечник.

Повинуясь собственной ярости и немощности тела, неспособный вступить в эту борьбу и помочь матери, детеныш вскинул голову и завыл, тем самым враз оборвав пение ночных птиц.

Битва длилась около получаса в полной тишине худого болотного леса. Наконец матерый вывернулся из мертвой хватки, но для ответной атаки уже не оставалось сил, поскольку изжеванные мышцы шеи больше не держали голову. Волк огрызнулся и тяжело потрусил в сторону логова.

А мать еще долго стояла, слушая вой детеныша, и качалась от усталости. Затем сделала несколько шагов на этот голос, однако вывалившиеся потроха цеплялись за кусты и корневища, мешая двигаться. Тогда она решительно легла набок, изогнулась и отгрызла волочащиеся по земле кишки, освободившись, как от пуповины. И, легко уже вскочив, схватила первенца и потрусила прочь – через болото, в ту сторону, откуда пришла.

По дороге она часто роняла щенка – не держали челюсти – и потому ложилась, переводя дух и зализывая вспоротый живот, а волчонок, пользуясь случаем, припадал к сосцам и тянул молоко напополам с материнской кровью. Делал это жадно, впрок, чувствуя, как из кормилицы медленно улетучивается жизнь. Ведомая инстинктом, она возвращалась на старое место – в ельники среди вырубов, где было ее многолетнее и когда-то безопасное логово и откуда вчерашним утром ее выгнали охотники.

Другого места у нее уже не оставалось на земле...

Перед рассветом, когда смолкли ночные и заговорили дневные птицы, она добралась до края выруб и, передохнув в последний раз, поползла к ельникам, служившим в зимнее время пристанищем для кабанов. Дышать становилось все труднее, мешал детеныш, зажатый в зубах, но теперь, зная свою скорую кончину, она не выпускала его больше, хотя он рвался и кусал за щеки.

На опушке леса над головой появился первый ворон, сделал круг, снизился и издал такой знакомый вопль, указывающий на добычу. Пока она была жива и держала первенца, он не мог стать птичьим кормом, и потому мать ползла вперед, захлебываясь воздухом.

Ворон удалился и скоро привел за собой около десятка сородичей. Стая облетела руб, точно рассчитала место, где из волчицы вылетит дух, и расселась на сухостой, пни и колодник. В прошлом верные союзники по добыче мяса теперь готовились поделить между собой того, кто часто добывал им пищу – загонял и резал лосей, кабанов и домашний скот.

В природе ничего не могло пропасть даром...

В это время и появился матерый отец семейства. Покружив возле лежащей волчицы, он срыгнул добычу – разорванного пополам зайца – и лег в стороне зализывать свои раны. Волчица приподнялась, понюхала пищу и молчаливо отвернулась. Он же оставил свое занятие, вскинув голову, посмотрел недовольно и жестко, потом заворчал: если самка не брала корм, добытый волком, это значило одно – полную потерю потомства.

Матерый еще раз обошел волчицу, выискивая запах щенка, и обнаружил его спящим под елью. Потом наконец-то поднял голову, озирая рассеявшихся по сухостоинам птиц, и все понял. Он был сам несколько раз ранен, и собственная боль притушила природную прозорливость, и потому, словно искупая вину свою, волк подполз к матери, обнюхал ее и только сейчас обнаружил разорванную брюшину. Лизнул несколько раз, но она отогнала волка, немо окрысившись, показывая, что рана смертельная.

Матерый попятился, сел и, вскинув морду, заскулил, пробуя голос. В волчьих глазах закипали слезы, и плач готов был вырваться из его глотки, однако самка заворчала на него с клекотом и яростью – запрещала делать это вблизи логова. Тогда он поджал хвост и с низко опущенной, скорбной головой побрел, затем потрусил прочь от ельников. И чем дальше уходил, тем больше набирал скорость и вот уже понесся крупными скачками, как за добычей, легко махая через колодины и завалы. Он бежал не дыша и на то расстояние, насколько хватило воздуха в легких и силы в мышцах. Он боялся разжать зубы, чтобы не вырвался зажатый в гортани плач...

Едва волк исчез из виду, как вороны тут же опустились подле гибнущего зверя и стали расклеивать его пищу – отгрынутого зайца. Рвали жадно, в драку, давились костями и большими кусками, в несколько минут уничтожив все без остатка. Она же смотрела на это спокойно, набираясь сил для последнего рывка к логову. Потом сунулась под ель, взяла детеныша и двинулась дальше, к спасительным ельникам, где воронам не взять волчонка. Предошущение

близкой смерти подавило разум, и она уже не осознавала того, что потомство таким образом не уберечь, не спасти, что первенца ожидает простая гибель от голода, ибо никто не накормит волчонка, не даст ему приложиться к сосцам, однако ничто не могло подавить материнский инстинкт, напрямую связанный с инстинктом продления рода.

Бывшие сотрапезники пошли следом, перелетая с пня на пень или вовсе по земле, короткими прыжками и в непосредственной близости. Между тем рассвело, над вырубам поднялось красное зарево, потом взошло неяркое солнце – она все ползла, едва переваливаясь через колодник. Вечный вороний голод подгонял птиц, делал их смелее, нахальнее, и они уже вышагивали следом, склевывая окровавленные следы. Почти у границы ельника мать завалилась набок, поскребла лапами прелый лист и затихла, зубы разжались. Первенец тотчас же выскользнул из них, заурчал сердито и, встряхнувшись, бросился к сосцам. Молоко истекало само собой, но уже не от переизбытка его...

В этот час над утренней землей возвысился и полетел во все стороны света печальный волчий плач. И скорбная мелодия его, одна для всего живого, одна для всего мира, была понятна всем, и в том числе человеку, ибо так сильно напоминала древние похоронные плачи-причеты над покойными.

И в этом проявлении чувств наконец-то в первый и последний раз соединились и примирились вечные враги...

А черные птицы встали кругом, но пока еще не подходили – переговаривались в предвкушении пищи и тоже слушали плачущий вой матерого. Несколько минут детеныш терзал вялое подбрюшье, пока вместо молока не пошла чистая, густеющая, как молозиво, кровь. Первенец недовольно рыкнул, и в этот момент мертвая волчица схватила его поперек туловища, резво вскочила и произвела стремительный рывок к ельнику, чем мгновенно испугнула воронье. Стая тотчас же взметнулась, загорланила встревоженно, роняя помет, а мать подломила на бегу у крайней, развесистой ели, ткнулась мордой в прошлогоднюю траву, и волчонок на сей раз кубарем вылетел из материнской пасти.

И впервые в жизни заскулил, вдруг почувствовав свое полное одиночество на земле. Некрепкий его голос, будто настраиваясь по камертону отцовского плача, чуть возвысился и скоро слился с ним где-то высоко над землей, образуя стереоэффект.

Слушая этот оркестр, замерли и онемели утренние птицы, прекратилось всякое движение на земле, оцепенела всякая живая тварь и даже муравьи замедлили свой бег на некоторое время, усиленно шевеля усиками и выслушивая не звуки – энергию пространства.

Потом все ожило, зашевелилось и запело в округе, но неведомое чувство одиночества и полной, теперь не желаемой свободы, обернулось неожиданным образом – пробудило разум и страх одновременно. Волчонок заполз кабаньей тропой в гущу мелкого, осадистого ельника и замолк, боясь дыхнуть. Он видел, как птицы вновь приземлились, теперь уже на неподвижный труп, и старый, с затасканным пером ворон совершил ритуальное действие – двумя точными, сильными ударами выклевал волчьих глаза, после чего сунулся в разверзнувшуюся огромную рану на брюхе, исследовал ее и отошел в сторону: готовой пищи – внутренностей – на сей раз не осталось.

И ни вожак стаи, ни кто другой не посмели больше и разу клюнуть остывающую волчицу. Удовлетворенные птицы расселись подле нее и замерли в напряженном, стоическом ожидании.

Полная неподвижность делала их похожими на обугленные головни. Эта траурная, похоронная команда не сошла с места и не шевельнулась, когда вдруг налетел ветер и из небольшой, клочковатой тучи ударил короткий и сильный дождь, потом начало жечь и парить обнажившееся солнце, почуяв неуловимый запах мертвечины, стали слетаться жуки-могильщики, постоянно живущие при волчьем логове.

Птицы будто сами омертвели, поджидая поры, когда созреет пища.

Насосавшийся в последний раз волчонок дремал, спрятавшись под елями, когда вдруг послышался резкий и одновременный треск крыльев. Вороны взлетали с криком, подавая сигнал опасности всему живому – и маленькому зверенышу тоже. Он заполз в рытвину, оставленную кабанами, наострил уши, нюхая воздух.

И сразу же обнаружил приближение людей; они шли, переговариваясь, и речь их напоминала клекочущий птичий язык. Вороны же орали над их головами, выписывая беспорядочные, возмущенные круги, пока с земли не раздался выстрел. Облезлая птица, исполнившая ритуал, рухнула на землю возле труп и поползла в сторону, как недавно ползла волчица. Предсмертный ее крик бил по ушам, заставляя стаю орать еще громче, а звереныша ежиться и вбурываться в землю. Еще один выстрел разом оборвал этот голос.

Человек даже не притронулся к своей добыче, разве что брезгливо пнул ее, загоня под выворотень, и приблизился к труп волчицы. Проклекотал что-то своему напарнику, засмеялся. Вдвоем они положили мертвого зверя на спину и стали осматривать, потянуло сладковатым дымом, речь их сделалась слышнее, гуще и веселее.

Первенец видел, как его мать вздернули на дыбу, привязав задние ноги к склоненному аркой дереву, и принялись сдирать шкуру. Это был тоже ритуал, только человеческий: работали не спеша, со вкусом, но молча, и один из них, с шерстью на лице, часто прикладывался к сосцу – пузатой фляжке, после чего становился еще молчаливее.

Наконец второй, гололицый, спрятал нож, хотя шкура еще висела на голове волчицы, прихватил ружье и направился в ельник, а первый, завершая работу, завыл протяжно и отчего-то безрадостно – а должен был бы победно, коль людям выдалась удача.

Слушая этот печальный голос, волчонок выбрался из укрытия, высунул морду из-под ветвей; он ощущал голод, пугающее одиночество и незащитность; это была его песня, и, повинувшись своему состоянию, он подтянул негромким, но чувственным подголоском. Воющий человек с шерстью на лице не мог его услышать, занятый разделкой добычи, да и сейчас первенца не заботила собственная безопасность, ибо само пение приводило его в особое трепетное оцепенение, когда ничего, кроме высокого льющегося звука, в мире не существует.

Подвывая человеческой песне, он выкарабкался на полустгнившую моховую валежину и вознесся бы еще выше, если б смог и было куда. Вскинув голову, он пел, как мог, зато истово и самозабвенно, почему и не заметил, как на его голос вышел гололицый человек, осторожно подкрался и снял куртку. Но прежде чем набросить ее на волчонка, стоял и слушал, будто не хотел портить песню. И едва звук угас, как сверху упало что-то плотное и темное, обволокло со всех сторон, парализовало всякое движение.

Запах случайного логова – ямы от подпола – знакомый с первого мгновения, как явился на свет, и нестерпимо мерзкий, охватил первенца еще плотнее, чем брезент куртки, проник в ноздри, легкие, впитался в кровь и достал сердца. Он пытался отфыркнуть его, исторгнуть из своего существа, однако запах этот был подавляющим и вездесущим...

3

Интерес к этой охоте у Ражного пропал в первый же день, когда поляки сначала отказались от классических способов охоты на логове – оклада флажками и подманивания волков на утренней и вечерней вабе, – а потом заявили, что отстреливать хищников станут с вертолета, на котором прилетели.

Зимой еще куда ни шло, хотя Ражный как президент клуба был противником такой неспортивной охоты, а в начале лета, в зеленом лесу с воздуха и коня-то вряд ли увидишь. Но спорить с панами не стал, понимая, что те попросту не желают ломать ног по старым вырубам и чащобам, а хотят красиво и с ветерком полетать и пострелять.

Ну и на здоровье! Таковы и трофеи будут...

Можно сказать, полякам еще повезло: стронутая с логова волчья семья не исчезла в зеленке, а почему-то завертелась на территории брошенной деревни, не совсем заросшей и хорошо просматриваемой с вертолета. Отстреляли двух переярков, ранили матерого и, пожалуй, взяли бы волчицу с прибылыми, если уже разродилась, не провалились один из панов в старый колодец. Поиск зверей пришлось прекратить и вернуться на базу, а надо было во что бы то ни стало добирать подстреленного волка, иначе начнет мстить за разорение гнезда и наделает беды.

Оставив гостей, Ражный вечером сходил на вабу, потрубил в ламповое стекло голосом волчицы, и матерый отозвался почти мгновенно, причем в районе логова. Это вселило надежду: если за ночь не уйдут, то рано утром можно расставить стрелков по лазам и тропам и взять волков на вабу.

Возвращаясь в сумерках из леса, неподалеку от базы на старом проселке он встретил человека в современных американских джинсах и белой рубашке навыпуск, перетянутой широким кожаным поясом с серебряными бляхами.

У Ражного тоже была такая рубашка и пояс, хранящиеся после смерти отца в его сундуке.

Это был соперник, давно ожидаемый и пришедший все-таки неожиданно...

– Здравствуй, Ражный, – сказал он и подал руку. – Я Колеватый.

– Здорово, Колеватый. – И сразу же отметил, что поединщик серьезный, сильный и лишь немного обеспокоенный, отчего и пытается давить психологически с первого прикосновения к сопернику – чуть крепче, чем полагается, сжал руку.

– Когда и где? – спросил пришедший аракс.

– В моей вотчине, – уклонился от прямого ответа Ражный. – Но сейчас связан гостями, поляки приехали на волчье логово. Завтра к вечеру уберутся. Встретимся здесь же и обговорим условия.

– Добро, – согласился тот. – Прими дар, вотчинник! Жеребчика тебе привел!

За поворотом проселка стоял новенький дизельный джип «Ниссан Террано»...

Ражный внутренне собрался, будто в боевую стойку встал: судя по такому дару, схватка для Колеватого была решающей. И сразу же возникло много вопросов, а один будто спицей проколол сознание: почему Пересвет определил в противники опытному, не раз бывавшему на ристалищах поединщику его, еще только затевающего Пир – первую в жизни схватку?

И ответ находился двоякий: или боярый муж считает, что коль Ражный – внук Ерофея, то способен одолеть Колеватого, или не забыл дерзости его и потешного поединка в Валдайском Урочище и теперь решил наказать, поставить на место.

Потом нашлось еще одно предположение: калики говорили, будто Ослаб или его опричина пытаются взять в руки слишком самостоятельных вотчинников и дают на Пересвета, чтоб тот выставлял против пирующих хозяев Урочищ таких поединщиков, которые в два счета уложат молодого аракса. Да еще на собственной земле...

Сам Ослаб был из вольных и, по словам сирых, не благоволил к вотчинникам...

От даров отказываться было не принято, впрочем, как и обсуждать достоинства и недостатки. Мало того, принимать их следовало без всякого выражения чувств, дабы соперник не мог понять, что он означает для вотчинника. А Колеватый незаметно и пристально, словно скальпелем, вскрывал глазами Ражного, намереваясь заглянуть внутрь...

– Благодарствую, – по обряду сказал Ражный и добавил от себя, прямо взглянув сопернику в глаза: – Отдарюсь после Поруки!

– Ты сначала получи эту Поруку! – усмехнулся тот. – А дар я приму!

До поединка вне ристалища им можно было прикоснуться друг к другу, лишь здороваясь за руку, но Колеватый хотел было хлопнуть его по плечу – так, дружески, по обыкновенной в мирской жизни привычке, – Ражный увернулся в последний миг. Мощная десница соперника похлопала воздух.

– Ну что? Расходимся, гость дорогой? – спросил Ражный, направляясь к джипу.

– Да рано еще... Покажи Рощу. Если недалече...

Колеватый хитрил или рассчитывал на простоту своего соперника: заранее показать дубовое Урочище – обеспечить ему половину победы. Он там дневать и ночевать будет, он там всю землю руками ощупает, сквозь пальцы пропустит, каждое дерево обнимет и обласкает...

– А ты не спеши. – Ражный валял дурака. – Я еще там не прибрался. Провожу поляков, возьму грабельки, метелку с совком, желуди смету, чтоб спину не давили...

Тот все понял, но никак не выразил своих чувств, лишь добро усмехнулся и пожал могучими плечами.

– Как хочешь, я во времени не ограничен. Ты вотчинник, а потому – как скажешь.

– Тогда завтра увидимся. – Теперь Ражный подал ему руку. – Кстати, как с ночлегом?

– В город вернусь, в гостиницу, – просто ответил Колеватый. – Меня машина ждет, тут недалеко, на дороге.

Вольный аракс снял пояс, рубаху, спрятал все в сумку и переделся в майку и джинсовую куртку.

– Ну, будь здоров! – махнул рукой и подался восвояси.

Ражный поднес ламповое стекло к губам и провабил ему вслед матерым зверем. Поединщик даже на мгновение не приостановил шага – не то что не обернулся; его невозмутимость и спокойствие говорили о главном – Колеватый был крепким на рану, как бронированный старый кабан...

Утром капризные поляки вообще отказались ходить по земле, кивая на своего товарища с порванными связками голеностопного сустава, и заявили, что охотиться станут только с вертолета. И тогда Ражный решил подстраховаться, уйти к логову до рассвета и там взять волка на вабу, ну а с волчицей и прибылыми уж как получится. Так будет скорее и надежнее, ибо поединщик ждет, хотя и говорит, что во времени не ограничен. Кто его знает, вдруг примет отсрочки и оттяжки во времени за психологическое давление и сам начнет давить.

А до поединка Ражному действительно нужно было «прибраться» – закончить все текущие дела, снять всякое стороннее давление в виде забот и хлопот и внутренне сосредоточиться только на предстоящем поединке. Так что он составил мысленный график, расставив свои дела в строгую очередность.

Первым пунктом значилось взять матерого, вторым – освободиться от польских охотников и только третьим – наказать Кудеяра. Начало и конец у этого плана довольно легко соединялись, и, отправляясь на логово, он рассчитывал убить двух зайцев, прихватив с собой приبلудного раба, тайно живущего на базе.

Однако расчет не оправдался: волк не ответил на вабу, и когда Ражный уже решил, что матерого в окрестностях логова нет, вдруг затянул прощальную песню, и этот звериный плач врезался в слух и сознание, как осколок стекла...

Сняв шкуру с мертвой волчицы, Ражный вывернул ее мездрой наружу, вырубил подходящую рогатину вместо пяла и натянул; когда еще прилетят польские паны – неизвестно, и прилетят ли вообще, а в такую жару, скомканная в рюкзаке, она сопреет за несколько часов – соли с собой нет. Вообще-то весенняя, линияя волчица как мех никуда не годилась, разве что у порога постелить вместо половика, к тому же дыра на боку расхвачена не по месту, по всей видимости, в драке. Поляки ее не возьмут – слишком чванливы, чтобы брать чужой трофей. К тому же им волчонок нужен, не шкура, а для получения премии за отстрел волчицы достаточно было предъявить голову, лапы и шмат кожи с брюха, на котором видны оттянутые соски. Да, экземпляр попался редкий, невиданный – величиной с матерого самца и весом под шестьдесят килограммов. Не вымя, так бы и сроду не подумать, что самка.

Витюля потом выделает и продаст иностранцам, придумав леденящую душу историю.

Ражный не надеялся отыскать волчат. Когда сведущий в биологии Кудеяр осматривал погибшую от раны самку, сразу же обнаружил, что нет кишечника. В брюхе остались желудок, печень и еще не сократившаяся матка – все остальное вымотано и отрезано волчьими зубами, а не расклевано вороньем, как думали вначале.

В желудке оказались непереваренный кусок мяса и два новорожденных детеныша: таким образом волчицы регулировали поголовье и оставляли жить самых сильных волчат и столько, сколько могли прокормить и вырастить. Конечно, сомнительно, что крупная, матерая самка оценилась только двумя, но будь еще волчата – тут бы, у трупа, вертелись, пока не сдохли и не стали бы добычей воронья. А судя по всему, волчица погибла пару часов назад. И все-таки для очистки совести Ражный заставил Кудеяра копать яму, чтобы не дать поживы воронью, а сам побрел по ельникам, к логову.

Осторожно пробираясь сквозь завалы к ручью, он снова услышал волчий плач, и чтобы не сосредоточиваться на нем, чтобы заглушить его скорбящую мелодию, он замычал современный мотивчик, однако звериный голос все равно накладывался, звучал сильнее и явственней. Тогда он попробовал размышлять вслух относительно вчерашней вертолетной охоты на логове, ругал поляков, один из которых вывихнул ногу и порвал связки, провалившись в колодез.

Ражный часто разговаривал сам с собой, оставаясь один, потому что на людях больше молчал, и это помогало выстроить мысли, психологически уравновеситься; тут почему-то и такой способ не помогал. Прощальная песня матерого, упущенного вчера так бездарно и глупо, оказывалась сверху и притягивала воображение. На какое-то время он забыл даже о поединнике и предстоящей схватке – первой в жизни схватке в дубовой роще! – к которой теперь следовало готовиться ежеминутно.

Он прислушался, стараясь определить, откуда же доносится волчий вой, и внезапно обнаружил, что в мире тихо, а звериный плач звучит в нем, запечатленный слухом, как магнитолной лентой.

Потом он услышал, как за спиной заволновалось воронье, стерегущее свою долю, – значит, Кудеяр свалил тушу волчицы в яму. Он ненавидел этих птиц, вид и крик их вызвали омерзение и близкое, тайное ощущение смерти, сейчас еще более усиленное волчьим голосом.

Пять лет назад прапорщик Ражный, боец спецназа погранвойск, сидел среди камней на таджикской границе с огромной раной – осколком мины вынесло два ребра в правый бок, подавал сигналы SOS и боролся с птицами. В полусотне метров от него на жутком солнцепеке лежал срочник-погранец Анвар, которому досталось больше, и потому воронье уже обрабатывало его кости. Это было жуткое зрелище: резиново-прочные, беспощадные голодные птицы падали на человеческое тело так густо, что вместо Анвара образовывался черный шевеля-

щийся курган. Ражному чудилось, что это уже не вороны, не те, воспетые в воинских песнях птицы, а крупные насекомые, что-то вроде жучков-могильников, только крупнее в сотни раз. Он дважды засадил из подствольника по этому кургану и понял безнадежность такого занятия. Воронье взлетало, словно показывая результат своего труда, и снова облепляло труп, вернее, просвечивающуюся насквозь ребристую грудную клетку, так похожую на птичью...

Стрелять по ним прицельно он уже не мог, да и не отогнать их было пулями, потому бил по скопищам воронья из подствольного гранатомета, однако выстрела хватало на три минуты, не больше. Птицы дожрали Анвара и теперь приговорили на съедение Ражного. Прапорщик понимал: стоит потерять сознание или кончатся гранаты – начнут расклевывать, не дожидаясь смерти. В полубреду он пытался контролировать время и, закрывая от слабости глаза, считал до семидесяти, после чего наугад наводил автомат на скопище и нажимал гашетку. За минуту забытья воронье приближалось на расстояние вытянутой руки...

И ни разу не промазал. Такого обилия этих ангелов смерти, пожалуй, не было ни в одной точке земного шара. После каждой гранаты до десятка воронов превращалось в черные лохмотья, но на смену им прилетало еще больше.

На этих птиц не охотились ни люди, ни звери, и сами они не расклевывали трупы павших своих сородичей.

Они были несъедобны и потому вечны. Когда за раненым прапорщиком пришел вертолет, пилоты побоялись сажать машину в непосредственной близости: на каменном склоне валялось десятка три душманских трупов – это то, что они наколотили в паре с Анваром, и поднятая винтами черная туча в буквальном смысле закрыла небо.

Воронье в тех краях размножалось и жирело от долгой войны...

Три эти птицы сидели сейчас на сухой ели низко от земли и внимательно наблюдали за движением человека, не забывая коситься под дерево. Чего-то ждали...

Ражный отвернул в сторону и пошел прямо на сухую елку – вороны нехотя взлетели, закричали недовольно, заругались, что отнимают добычу.

Волчонок сидел на корневище и подпевал отцу. Он даже не дернулся, когда оказался в человеческих руках, ибо взят был за холку, как носила его мать.

– Вот ты где, брат... А от мамаша твоей одна шкура осталась...

Щенок открыл глаза, чем удивил человека.

– Интересно... Пуповина не отсохла, а смотришь.

Щенок тихо заурчал. Ражный крепче взял за загривок и тут увидел тонкие молочные зубы в пасти звереныша.

– И еще с клыками... Да ты, брат, вундеркинд.

Волчонок или властную руку почувствовал, или посчитал, что взят материнскими зубами – обвис, вытянув лапы. Взгляд щенка был уже осмысленным, реагировал на движение и предметы – знать, давно освоился с окружающим миром.

– Ладно... А где твои братья-сестры? Или всех мамаша подъела?

Вороны кружили над головой: их добыча сейчас была в руках человека. Ражный понаблюдал за их полетом, сунул в карман волчонка.

– Значит, подъела... Такая здоровая, а всего троих родила и только одного тебя оставила. Видно, не зря говорят: чем меньше рождаемость, тем выше организация и интеллект. Пошли, что ли?

Звереныш чуть поволохался в кармане и затих. Кудеяр почти зарыл волчицу, однако, заметив хозяина, бросил лопату и сел. Ражный сдернул с него брезентовую куртку, завернул щенка и, завязав узлом, положил на колодину. Раб тут же оказался рядом, просунул руку в узел, погладил волчонка, не вынимая.

– Какая мягкая шерстка. Плюшевый... Вы что с ним станете делать, хозяин?

Ражный не удостоил его ответом, ибо сам не знал, что теперь делать с волчонком. Конечно, надо бы отдать полякам, да почему-то чувствовал нарастающий внутренний протест, в основном продиктованный обидой, что упустили они вчера матерого и теперь добавили ему работы перед поединком.

Пользуясь молчанием, раб достал щенка, заглянул в пасть, осмотрел снаружи.

– Редкий случай, – заключил равнодушно. – Пуповина свежая, а глаза открылись... Как это понимать, президент?

И вдруг как-то странно пискнул, отшвырнул щенка и зажал основание большого пальца.

– Вот сука!.. И зубы есть! – Кудеяр тут же справился с собственным испугом, взял привычный саркастический тон. – Как считаете, волчата могут быть бешеными от рождения? Как люди, например?

Ражный не удостоил его ответом, сунул детеныша назад в куртку, застегнул «молнию», завязал в узел, после чего бросил лопатку.

– Трудись.

Кудеяр усмехнулся в бороду и промолчал, четко зная черту в их отношениях, переступать которую не следует, ковырнул землю. Птицы, зревшие коварство, возмущенно сорвались со своих мест и с клекотом возрежали над головами. Ражный подтянул к себе ружье, но пожалел картечь – дробовых патронов в патронташе не оставалось...

Напарник насыпал зачем-то холмик над могилой и, как всякий раб, работающий из-под палки и по приказам, дело до конца не довел.

– Утрамбуй землю и привали сверху камнями, – распорядился Ражный.

– А на хрен это надо? – утомленный жарой и потому ленивый, спросил Кудеяр. – Экология, что ли? Да кто сюда придет?..

Чтобы прекратить «разговорчики в строю», когда-то хватало одного взгляда; теперь невольник распоясался и будто бы не замечал, что хозяин тихо вскипает.

Ражный молча дал пинка в тощую задницу. Кудеяр зарылся головой в мелкий густой ельник, но тут же вскочил, поклонился.

– А, да!.. Прошу прощения, президент. Слушаюсь...

И опять же кое-как примял ногами холмик, поплелся выковыривать камни из земли.

Кудеяр в последнее время начал смелеть, и, если пока еще не нарушал условий договора, то в речи его Ражный все чаще слышал издевательский тон. Поставить на место его можно было в любой момент и за малейшее своеволие – бывший прапорщик знал много лекарств от наглости, однако оттягивал время, поджидая тот случай, когда невольник утратит бдительность, нарвется окончательно и когда сделать это можно изящно, со вкусом, один раз и навсегда. Он ненавидел своего раба, презирал его прошлый и нынешний образ жизни, былую ученость, подвижный, с налетом ржавого цинизма, ум, поскольку все это являлось флером, туманом, прикрывающим примитивную, трусливую натуру. С точки зрения Ражного, его было бессмысленно перевоспитывать либо прививать какие-то достойные человека, благородные качества. Он был раб от природы, ибо уважал только силу и перед ней преклонялся, даже если при том держал фигу в кармане. И как всякий раб, так или иначе получив власть, становился неумолимым и жестоким, но стоило ему почувствовать силу, как он мгновенно становился самим собой и готов был сапоги лизать.

И это неприятное общение с рабом неожиданно излечило: волчий плач забылся, пленка стерлась, не оставив даже воспоминания скорбной мелодии. Но теперь мысли занял Кудеяр, от которого перед поединком следовало избавиться, как от мерзкого раба, негодного человека и души, все-таки зависимой от воли Ражного.

Первая в жизни схватка в дубраве вполне могла оказаться и последней, то есть окончиться славной, но смертью, и по древнему правилу он не мог оставить после себя хотя бы одну зависимую душу – жену, ребенка, возлюбленную или пленника-раба, приведенного с чуж-

бины. Поэтому до первого поединка Ражный не имел права жениться, заводить детей, хозяйство и рабов...

Кудеяр прибил на охотничью базу прошлой осенью, и Ражный до сих пор не знал его настоящего имени, что, впрочем, было не особенно интересно.

Однажды он приехал из города (проводил на поезд группу иностранцев) и увидел выбитые стекла и пострелянные стены, а сторож – сорокалетний мужик, бывший классный сварщик и Герой Соцтруда, а ныне тихий алкоголик Витюля, оказался в таком сильном возбуждении и страхе, что поначалу ничего не мог добиться от него и потому сам осмотрел базу: из кладовой и морозильной камеры исчезли продукты, палатка, меховой спальник и совсем странно – икона Сергия Радонежского из зала трофеев. Сторож был хоть и храбр на словах, чуть выпив, стучал себя в грудь и Золотую Звезду показывал, однако на рожон не полез, и когда к охотничьей базе подрулила иномарка, а оттуда вышел бандит с автоматом, смекнул, что в открытом бою проиграет, потому взял свою одностволку и спрятался на чердаке, осторожно замкнув входную дверь на внутренний замок.

А бандит, видимо, знал, что хозяина нет, потому вел себя дерзко и нагло – выломал окно, вошел в дом и стал хозяйничать, выбрасывая на улицу и складывая в машину все, что понравилось. В последнюю очередь снял со стены икону, и когда вышел с ней на улицу, сторож наконец пришел в себя, прицелился и всадил ему заряд дроби в задницу. Разбойник сначала упал, заорал и пополз за машину. Витюля перезарядил ружье и выстрелил по капоту иномарки, но бандит пришел в себя и открыл ответный огонь – выбил окна, изрешетил железную крышу, после чего заполз в машину и поехал со двора. Сторож вдарил по нему еще раз, выставил заднее стекло, но нападавший умчался по проселку и на развилке повернул не к городу, а в обратную сторону – к брошенному лесоучастку – это было хорошо видно с чердака.

Герой Соцтруда побоялся спускаться вниз, а лишь принес патронов с пулями и картечью и засел у слухового окна.

– Кудеяр! – восклицал он, не в силах справиться с волнением. – Истинный Кудеяр! Среди бела дня на такое?!

Это происшествие показалось Ражному странным: грабить охотничью базу не имело смысла – денег нет, оружие вывезли и сдали в милицию на хранение, да и вообще ничего ценного: даже икона была новая, конца прошлого века. Судя по похищенным вещам, бандит жил не очень далеко и бедствовал в осеннем холодном лесу. Ущерб от нападения был не великий – в конце концов, и «Кудеяру» досталось: на земле, где стояла его машина, остались сгустки крови, битое стекло, и можно бы считать, что были с налетчиком в расчете, но еще тогда Ражный заподозрил – а не приглядывать ли за ним приставили этого человека?

Оставив все дела, он занялся поисками и через пару дней обнаружил старенькую, простреленную дробью «БМВ», замаскированную на зарастающей лесовозной дороге в двадцати километрах от базы, и сел в засаду. Еще через пару дней кончились продукты, да и похолодало, так что Ражный решил оставить Кудеяра до первого снежка, когда тот сам выберется из своего логова и наследит.

Первый снег выпал через неделю, и Ражный, прихватив с собой оруженосца Витюлю (носил карабин на случай встречи с крупным зверем), пару гончих, специально отправился в тот район потропить зайцев. И скоро гончаки вдруг залаяли на одном месте, будто по крупному зверю.

– Лось! Лось держат! – возликовал неунывающий Витюля.

Несведущего Героя пришлось урезонить, ибо вместо лося там мог быть тот самый Кудеяр с «калашниковым»...

Так оно и оказалось. Только бандит не смог даже самостоятельно выползти из палатки, присыпанной снегом. Дробовой заряд попал ему в область анального отверстия, задница распухла, начиналось заражение крови, и Кудеяр валялся с высокой температурой и в полусозна-

тельном состоянии. Автомат у него был под рукой, и, несмотря на помрачение ума, он все-таки попытался поднять его с пола, но ничего больше сделать не успел. Ражный вышвырнул бандита из палатки на снег, придавил к земле стволом карабина.

И здесь от него дурно завоняло. Потом, когда выздоровел, Кудеяр признался, что не мог сходить в туалет уже неделю, и тут от страха у него началась медвежья болезнь, которая продолжалась потом всю дорогу, пока несли его до машины и потом ехали до базы. Несмотря на ранение, у бандита не пропал аппетит и он сожрал чуть ли не половину уворованных продуктов – четырнадцать литровых банок лосиной тушенки! Даже с великого голода нормальному человеку столько не съесть, тем более когда случился запор.

На базе Витюля отмывал и лечил его больше месяца, геройски перенося отвращение, и когда Кудеяр встал на ноги, Ражный велел выдать ему солдатскую одежду, бывшую в клубе как охотничья спецовка для гостей, и отправить на все четыре стороны. И вот тогда налетчик в прямом смысле пал на колени.

– Не выгоняйте! – взмолился. – Мне некуда идти! Я вынужден прятаться! Если я появлюсь в городе – меня убьют! Буду служить вам! Все исполню, что прикажете!.. Позвольте остаться!

– Даю три минуты, – предупредил Ражный. – И чтоб духу твоего не было!

Налетчик пугливо открыл дверь задом, попросил из-за порога:

– Верните мне автомат...

Не хотелось марать рук об это существо, поэтому Ражный дал ему пинка и велел Герою вывезти Кудеяра за сто первый километр в прямом смысле, то есть за границу арендованных охотугодий. Верный слуга исполнил все, как полагается, но не прошло и недели, как егеря, объезжавшие на снегоходах лосей в семнадцатом квартале, засекли человеческие следы в кирзовых солдатских сапогах. Незнакомый выходил на просеку, зачем-то прошел по ней задвперед, после чего, неумело маскируя след, снова свернул в глубь квартала, где находился старый леспромхозовский вагончик с печью. И пес бы с ним, да на выходные дни Ражный ожидал группу «новых русских» из области, и Кудеяр мог подшуметь лосей, стоящих на кормежке в этом квартале. Поэтому, не раздумывая, велел осторожно пройти на лыжах к вагончику и взять, кто бы там ни оказался. Егерями у него работали местные мужики-охотники, леса знали отлично и к обеду следующего дня привезли в снегоходной нарте обмороженного, коростного Кудеяра.

Гнать его с территории оказалось бесполезным, его в двери – он в окно, тем более одичавший лесной скиталец снова упал на колени:

– Служить буду! Как последняя сука!

Он был интеллигент и в лагерях не сидел, поэтому тюремные клятвы и замашки звучали у него выспренно. Не походил он ни на уголовника, ни на киллера, вынужденного скрываться от возмездия, ни на члена какой-нибудь бандитской группировки, которому братва отказала в покровительстве.

При всей своей рабской роли в охотничьем клубе Герой Соцтруда Витюля был вовсе не рабом, а невероятно прилежным трудягой, выброшенным с круга жизни великими реформаторами. Он до сих пор оставался Почетным гражданином города Надыма, одна из улиц носила его имя; разве что надымчане не ведали, где теперь он и в каком состоянии, качая природный газ по трубопроводу, им сваренному. Витюля прекрасно осознавал свое положение, называл себя абортom реформы и все еще желал быть кому-то нужным и полезным – не государству, так небольшому частному делу в виде клуба и охотничьей базы. Варить он больше не мог, поскольку от долговременных запоев тряслись руки...

– Ладно, – согласился тогда Ражный. – Служить так служить... Но запомни: малейшее неповиновение – и я тебе больше не хозяин.

Кудеяр готов был землю есть.

А Ражный присматривался к нему и искал подтверждение своим внезапным мыслям: впереди был первый поединок, и вполне возможно, что его будущий соперник, заранее зная, с кем придется выйти на ристалище, подослал своего человечка, используя его вслепую.

Отец не раз предупреждал – за полгода до схватки никого больше к себе не подпускай, тем более перед Пиром. К нему самому не раз подкрадывались – то молодая женщина объявится, на которую сроду не подумаешь, то беспризорный мальчик, которого выгнать рука не поднимается. Для соперника все важно: как ты живешь в мирской жизни, что ешь, сколько спишь и даже что видишь во сне.

И сколько бы он ни приглядывался к рабу, ничего не заподозрил и все-таки решил заранее освободиться от зависимой души: до поединка оставалось менее полугодя, поскольку Ражный этой весной достиг совершеннолетия аракса – исполнилось ровно сорок.

Способ избавления от рабства он знал армейский, проверенный и жесткий: прежде чем поднять человека, его следует унижить, дабы ощутил дно и опору под ногами. Иначе из трясины не выплыть...

Но оказалось, есть на свете люди настолько глубокие в своей низости, что могут и тебя увлечь на дно, незаметно погрузив в болотную зыбь. Самое удивительное, что Кудеяру нравился такой образ жизни и другого он не хотел, а выгнать его с базы оказалось невозможно. Он в буквальном смысле прилип, въелся, как ржавчина, и медленно грыз изнутри душу, изъедал и язвил ее своими циничными, полускрытыми насмешками, и когда хозяин выходил из терпения и хватал палку, тотчас же покорно склонял перед ним спину.

Ражный терпел и ждал случая, когда можно хорошенько встряхнуть, жестко наказать в последний раз отравляющего жизнь раба, и приезд поединщика подстегнул к скорому действию, да и случай представился удобный: охота с поляками, вертолет, начальство из области – все к месту.

Едва Кудеяр забил камнями могилу волчицы и сел в тень покурить, за ельниками послышался стрекот вертолета Ми-2, на котором вчера брали волчью семью у логова. С поляками, которых Ражный за иностранцев не считал, намаялся больше, чем с изнеженными американцами или привередливыми немцами. Им и вертолет не помог – вывернулся и ушел матерый и волчица с прибылыми, выпустили по собственной вине: куда уж лучше, когда тебя наводят на зверя с воздуха, подходи и бей.

Панам бы покаяться или хотя бы вину свою признать и не предъявлять необоснованных претензий – в них заиграла шляхетская кровь, полезло дерьмо – мол, за увечье охотника, павшего в колодец, платить придется клубу, еда на базе плохая, комары заедают, подушки комковатые, в спальне сквозняки и вообще охотничий клуб – надувательство русских проходимцев, и надо бы расторгнуть с ними контракт.

Президент клуба тихо скрипел зубами и с тоской, добрым словом поминал Тараса Бульбу и Ивана Сусанина.

Поздно вечером выяснилось, отчего недовольны паны и ради чего столько времени добивались этой охоты на логове: коммерсанты обещали преподнести польскому президенту волчонка.

И когда на подходе к логову услышал волчий плач, застрявший в ушах, понял, что волчица мертва и сейчас складывается самая неблагоприятная обстановка. Волк пришел к погибшей возлюбленной, простился, а потом оплакал и ушел на разбой...

Сейчас Ражный ничего особенного не чувствовал, ибо мысли по-прежнему были прикованы к поединщику. Он вспоминал его рукопожатие, взгляд, голос, процеживал в памяти короткий диалог, состоявшийся на дороге, и пытался угадать его характер, силу и качество эмоций, способности врожденные и приобретенные и из всего этого смоделировать хотя бы общие приемы борьбы. Ражный знал, что и Колеватый сейчас занимается тем же анализом и,

пожалуй, волнуется больше, поскольку схватка предстоит в дубовой роще, насаженной далекими предками и полностью обновленной отцом, а дома и деревья помогают...

Эх, узнать бы о нем сейчас хоть что-нибудь – какого он рода, сколько раз выходил на ристалища, в каком периоде схватки рассчитывает на победу, а в каком может сделать ничью или вовсе уступить. Судя по телосложению, кулачник он сильный, и браться во втором тайме с ним будет трудно. Так что придется доводить его до третьей стадии – до сечи...

Что вольные, что вотчинные араксы никого к себе близко не подпускали, таили не только от мира свою вторую жизнь, но и перед своими были закрыты, так что или вычисляй, изучая характер и психологию, или все узнаешь уже на земляном ковре, в роще. Это народу на потеху они устраивали по праздникам игровые схватки, иногда зарабатывали деньги, поджывая богатых купцов организовать бой с кем-либо, вынуждали делать большие ставки и потом делили выигрыш, собравшись на тайный сход, но ни один посторонний человек не знал и не мог узнать, где состоится истинный бой араксов – своеобразный чемпионат, покрытый таинством. Его место определял боярый муж Пересвет – не самый старый по возрасту и самый сильный поединщик. Обычно схватки проводились в дубовых и, реже, сосновых или иных рощах, скрытно от чужих и своих глаз. Они напоминали гладиаторские бои, разве что без публики, милующей или приговаривающей к смерти. В Урочищах засадники были сами себе судьями и сами решали вопросы жизни и смерти.

И доньше ничего не изменилось, хотя отец частенько говорил, что араксов сначала поубавилось в довоенное время, а потом резко прибавилось, и сейчас их больше, чем в благодатном прошлом веке, то есть тысяча с лишним, настоящий Засадный Полк. Сам Ражный-старший о себе рассказывать не любил и, как потом выяснилось, много скрывал даже от сына. Большую часть жизни прожил он в своей родной деревне, работал все больше в лесу – штатным охотником, егерем, лесником, одно время – механизатором, потом снова егерем. В сорок втором взяли в армию, но на фронт он не попал – отправили на морскую базу, где ремонтировались подводные лодки. Всю войну, а потом еще шесть лет он выполнял одну и ту же операцию – вытаскивал из субмарин дизели, подлежащие ремонту, и затаскивал новые. С помощью специального коромысла, постромок и помочей в невероятной теснотище, где двоим уже не развернуться, брал один полутонный вес и, удерживая его впереди себя, нес по лабиринтам и узким переходам. Иногда за сутки по две-три операции. Его держали на особом пайке, который, впрочем, был не так важен, хранили и берегли, исполняя все, даже самые неожиданные прихоти, и не спрашивали, зачем, например, ему нужна отдельная рубленая баня, всякий раз чистое, с иголки, белье, возможность на несколько часов оставаться в одиночестве и полная свобода действий.

Когда Ражному было десять лет, отец вдруг собрался и, оставив хозяйство, налегке, с сыном и второй своей женой Елизаветой уехал на Валдай. А там поселил семью в настоящих хоромах на высоченном холме среди древней дубравы. Жить бы там и радоваться, но когда Вячеслава призвали в армию, вернулся назад...

Для Ражного не было тайной, чем всю жизнь занимался родитель, мало того, сам по наследству был посвящен в воины Засадного Полка – так между собой араксы называли Сергиево воинство, тот самый засадный полк, который под предводительством княжеского воеводы Боброка решил исход битвы на Куликовом поле.

Посвящен был в тринадцать, много чему научен и только не вышел еще возрастом, не достиг сорока лет – совершеннолетия аракса или, как чаще говорили, сборных лет, чтобы бороться в рощах. До этого срока можно было заниматься чем угодно – заносить колокола на колокольни, жернова на мельницы или те же дизели в подлодки; позволялось бороться на праздниках, веселя публику, профессионально заниматься спортом, всегда в особой чести считалось служить, защищая Отечество. Однако выходить на поединки в Урочищах и участвовать в Сборе воинства для Пира Святого уставом дозволялось лишь в зрелые годы.

Поскольку внешне засадники ничем особенным не выделялись, то их невероятная сила и выносливость почти всегда связывались в сознании мирских людей с колдовством, чародейством или некой чистой и нечистой силой, позволяющей совершать то, что не под силу обыкновенному человеку.

Отец успел вроде бы многое за свою жизнь, не раз становился героем на праздниках, заработал уважение земляков, слыл среди них как самый сильный и независимый, потому всю жизнь был чем-то вроде мирового судьи, и даже последние годы занимался живописью, умудрившись умереть не как подобает араксу, в объятиях противника, а возле мольберта, так и не закончив автопортрета.

К старости ему не хватало света, поскольку он писал картины, и, дабы осветить жилье, вынес все капитальные и дощатые перегородки, прорезал дополнительно еще шесть окон, и получилась одна огромная комната с видами на все четыре стороны. Лишь русская печь отгораживала часть помещения, делая невидимым один угол. Дом от этого быстро начал крениваться вперед, поползли не связанные внутренними стенами венцы, и по ночам находиться в нем было страшновато из-за непрекращающегося треска и скрипа. Местные охотники, иногда ночуя возле дома, опасались войти в него – говорили, будто Ражный-старший оставил в нем колдовскую силу. Возможно, потому здесь все уцелело, сохранилось в неприкосновенности, ибо ходила молва – если что взять из жилища колдуна, станут преследовать несчастья.

Никто не тронул ни вещей, ни отцовских картин, и даже запас кистей, красок, льняного масла и растворителей остался цел, разве что ко времени возвращения наследника все покрылось толстым слоем пыли.

Восстанавливая родительский дом, Ражный выровнял и скрепил стены дополнительными балками и стяжками, но оставил все, как было при отце: здесь действительно стало много света и простора, отчего радовалась и никогда не томилась душа. Но летом становилось жарко, потому и приходилось закрывать оконные проемы.

Портрет был необычный и по краскам, и по содержанию. Писал его отец без зеркала и фотографии – на память, а точнее, таким, какого видел или представлял себя самого, потому никакой внешней схожести не наблюдалось. На круглом метровом полотне в белосиренево-багряных несочетаемых тонах был изображен сивоусый строгий и властный старик с огромными, пристальными глазами, а в каждом его зрачке отражался другой, по замыслу, тихий, самоуглубленный и добрый. И вот как раз эти старички должны были походить на настоящего отца, но они никак не получались, ибо выписать их следовало слишком мелко, почти ювелирно, а у Ражного-старшего в последнем поединке была изувечена и сохла правая рука, отчего он больше не выходил на ристалища. К тому же в доме не хватало света даже после того, как отец превратил его в фонарь.

Все-таки он вложил много в эту картину, сумел выразить и написать себя даже с рванными сухожилиями и сосудами в руке, и потому душа осталась живая и сейчас, незримая, присутствовала рядом.

Художественный дар у него открылся лет за восемь до смерти, после памятного, последнего поединка, на котором отец был побежден араком по имени Воропай. Но особенно он взялся за живопись, когда умерла его жена Елизавета. Говорит, не спал целый месяц и начались видения, которые ему потом захотелось воспроизвести на холсте: до того не то что кисти в руки не брал – представления не имел о технике живописи. Потому все картины не имели прямой связи с реальностью, но и не были абстрактными. Конечно, его работы профессиональный художник, привезенный Ражным-младшим, отнес к чистой самодеятельности, примитивизму, ничего не имеющему общего с настоящим искусством, и тем самым разочаровал сына, но не отца. Отец же поухмылялся в сивые усы и принялся творить с еще большим упорством.

Тогда-то и появилось полотно под названием «Братание». На нем вовсе не братались в прямом смысле, а боролись два аракса, переплетаясь телами, руками и ногами так, что начи-

нали свиваться, будто корни двух деревьев, а пальцы их вообще срослись. Динамика и экспрессия были правдивыми, живыми, испытанными много раз в «науке» – потешных поединках. Он несчитанное число раз схватывался с отцом на ристалище и помнил братание: действительно, было ощущение, словно связывается, срастается противоборствующая плоть помимо воли или вопреки ей, и вопрос уже стоит так: не уложить соперника – хотя бы расцепиться с ним, чтобы не превратиться в сиамских близнецов.

Отец знал, что и о чем писал на холсте.

Не испытав схватки в Урочище, нельзя было судить об этой живописи. Профессиональный художник был прав: творчество отца имело мало общего с искусством, поскольку на его картинах была зашифрована тончайшая, чувственная материя, переживаемая засадниками.

О том, что Ражный-старший, начиная с пятидесятилетнего возраста, одиннадцать раз становился абсолютным победителем в схватках на земляных коврах и в последний раз уступил титул боярого мужа Пересвета всего-то лет за десять до кончины, его сын узнал, когда поехал на Валдай, за камнем на могилу. Уступил Воропаю, не выдержав с ним двухсуточной сечи: подвела правая рука, почти оторванная соперником...

И теперь было обиднее в тридевять, что при жизни отца ничего этого не знал, не мог оценить его как личность, по достоинству, и просто погордиться славой. Хотя бы тайно, перед самим собой, для собственного блага и куража, ибо он чувствовал, как гордость, родительская слава вливают в него мощный поток дополнительной силы и энергии.

Но в этом и крылись невероятная живучесть и великий внутренний смысл существования Засадного Полка – Сергиева воинства, где невозможно было что-то построить на отцовской или иной славе, и всякий раз каждому потомку, будь он вольный или вотчинный, приходилось начинать все сначала...

Между тем вертолет с поляками лопотал над дальним горизонтом, висел в небе, как рок, но Кудеяр не ведал о том, полагая, что охота закончилась и они пошли в лес добирать подранков – это делалось после каждой облавы, поэтому чувствовал себя в полной безопасности. Насчет хозяина он был уверен: этот самодостаточный болван никогда не выдаст приبلудного постояльца, совесть не позволит...

Ражный не спеша достал кожаный ремешок, ударом ноги опрокинул Кудеяра и в несколько секунд стянул ему руки, пропустив между ними толстый осиновый ствол. Раб опомнился, когда стоял на коленях и обнимал дерево.

– Что? Зачем? Зачем это? – испуганно завращал глазами.

– Хочу освободить тебя, – спокойно вымолвил тот и достал нож.

– Не надо!.. Не делай этого! Ну в чем я провинился?!

– Не бойся, я только побрею. И сдам. Слышишь – за тобой летят.

Кудеяр послушал гул вертолета, чуть расслабился.

– Вы не сдадите меня. Не сможете.

Без всякой суеты Ражный поправил на оселке лезвие ножа, подступил к Кудеяру и стал срезать бороду. Тот не противился, подставлял лицо и при этом все-таки пытался поймать взгляд.

– Я и сам хотел побриться... Но приятнее, когда тебя бреет сам президент. Только зачем это вам?

– Это не мне – тебе, – объяснил тот. – Чтобы твой нынешний образ соответствовал старым фотографиям.

– Все равно не сдадите, – уверенно произнес невольник. – Или я ничего не понимаю в людях... Как вы считаете, я хороший психолог?

Ражный молча срезал крепкий и густой волос: диалог с рабом должен был вести приближающийся вертолет. Тайного постояльца на базе и в охотугодьях никто, кроме Витюли и еге-

рей, не видел, а Кудеяр больше всего боялся чужого глаза, точно зная, что свои дорожат работой в клубе и никогда не пойдут против воли президента, не выдадут.

Быстрее раба на гул вертолета среагировал волчонок, упакованный в куртку, – заворочался и негромко заскулил. Ражный срезал бороду и принялся брить насухую. Волос трещал под лезвием, как проволока, у Кудеяра от боли наворачивались слезы, но он терпел и вострил ухо на хлопающий звук Ми-2.

– Вы не сдадите меня, – уже тоном внушения вымолвил он. – За укрывательство преступника вам полагается срок. Клуб развалится, базу растащат, охотугодья отнимут. Вернетесь на пустое место.

Волчонок вдруг перестал скулить и начал грызть брезент, сердито урча. Вертолет рыскал над старым вырубом в полукилометре и так низко, что ветерком нанесло запах сгоревшего керосина. Президент выбрил щеки, схватив раба за волосы, оттянул голову назад и скребанул по горлу.

– Пощади, – сломался Кудеяр и, опасно двигая головой, попытался поцеловать руку с ножом. – Я знаю, за что ты меня... Отрежь язык и пощади!

Ражный дернул его за шевелюру, задирая подбородок, но в Кудеяре уже проснулась дикая, неуправляемая сила страха – рванулся так, что в кулаке остался пучок волос.

– Сам откушу, смотри! – высунул язык и сжал зубы. По губам заструилась кровь.

Вертолет заламывал круг, завалившись набок в противоположную от ельника сторону – иначе бы уже заметили людей на земле. С шумом и криком вскинулось воронье, закружило над головами, приняв воющую машину за соперника.

Язык Кудеяр не откусил, а вдруг заскулил, задергался и начал грызть дерево – по-бобриному, срывая осиновую кору по кругу.

Ражный сел и вонзил нож в землю. Внезапная и ясная мысль будто сковырнула коросту со старой раны: он сам, собственными руками делал раба из этого человека! Хотел взрастить благородство, чувство чести и презрение к смерти, дающее человеку волю, но армейский прием не годился. Унижение как самое сильное средство, возбуждающее человеческое достоинство, здесь ничего не возбуждало, а, напротив, еще глубже ввергало в трясину. Детонатор не срабатывал, не вышибал искру, не взрывал чувство протеста и сопротивления. По приказу Ражного Витюля давал ему прокисшие щи – Кудеяр страдал от поноса и все равно ел; Витюля впрягал его в санки и возил на нем сено для своей козы – он не роптал. Ражный однажды сам подбросил в его схорон нож и оставил дверь незапертой – раб к ножу не притронулся.

Его устраивало существующее низменное, скотское положение. Страх смерти оказывался сильнее, и под его натиском было все равно как жить – лишь бы жить.

Ражный рассек ножом ремень на его руках, и Кудеяр, как спущенный с цепи пес, тотчас же исчез в лесу.

На следующем развороте с вертолета заметили президента и начальника охоты, да и он теперь не скрывался – вышел из-под защиты ельников, вынес и утвердил, как выпел, распятую шкуру. И когда вернулся к могиле волчицы за ее уцелевшим детенышем, вдруг и его пожалел: зверю была уготована судьба невольника. Посадят в вольер, станут кормить и сделают раба – прирученного пса, который даст потомство...

Польский президент увлекался разведением элитных служебных собак, считался одним из лучших заводчиков немецких овчарок и мечтал улучшить и освежить их породу, заполучив чистокровного волка.

Звереныш грыз брезент, мусолил и трепал его, однако жесткая, плотная ткань не поддавалась, и когда Ражный развязал куртку, оказалось, что зубов у волчонка нет: молочные, неокрепшие, они были частью вырваны с корнем, частью обломаны. Из десен сочилась кровь...

Это стремление к свободе потрясло Ражного. Он держал волчонка за шиворот и зачарованно смотрел в младенческие звериные глаза. В них еще не было ни злобы, ни врожден-

ного волчьего страха перед человеком, однако нормальное для щенка и уже привычное положение, когда он подвешен за холку, обездвижило его и сделало покорным, как бы покорным воле матери. При этом широко расставленные уши были настороже и ловили гул вертолета, заходящего на посадку в двухстах метрах от ельников.

Ражный хотел погладить, точнее, пригладить эти чуткие уши, но волчонок вдруг ловко, по-змеиному, ухватил палец и стал сосать.

Он был голоден, и оставить его на воле, без матери, значило обречь на смерть: несмотря на свои ранние способности, волчонок все равно бы не выжил. Был единственный компромисс – сейчас же, пока не пришли сюда польские паны, задавить щенка, тем самым избавив его от мучительной смерти на свободе и жизни в неволе. Потом, в присутствии поляков, «обнаружить» мертвого волчонка и убить еще одного зайца, мол, извиняйте, господа-паны, сами виноваты: нашли бы вчера волчицу с прибылым – взяли бы живого, а сегодня поздно.

Если погибает самка, погибает и новорожденное потомство...

Щенок по-младенчески чмокал мизинец, слегка покалывая его корнями обломанных зубов. Ражный отнял палец, нащупал трепещущее сердце звереныша – оставалось на несколько секунд сжать пальцы. Он делал это много раз, когда додавливал пойманных в капканы куниц, раненых зайцев, уток и тех же волчат, взятых из логова.

Но вдруг случайно перехватил щенячий взгляд: в гнойных, недавно открывшихся глазах пока еще ничего не было, кроме безграничного детского доверия.

Его мать-волчица без тени сомнения пожрала новорожденных щенков, даже не перекусив пуповин, ибо имела ярое, сильное сердце, повинующееся инстинкту. Спасти она могла лишь одного волчонка и выбрала первенца, самого крупного и сильного – остальные подлежали безжалостному уничтожению. И если бы из-за первенца появилась угроза ее жизни, она бы придавила и его, дабы спасти материнское чрево, в благоприятных условиях способное дать не одно потомство.

Ражный с силой швырнул щенка под ель. Тот мявкнул и тут же вскочил на ноги.

– Иди отсюда! – пугая, потопал сапогами. – Уходи. Пусть тебя поляки ищут. Найдут – такая уж судьба, жить будешь... Ну, что встал? Брысь отсюда!

Волчонок будто внял человеческой речи, сунулся в лапник, выстилавший землю, запутался, потом прополз на животе и, выбравшись на кабанью тропу, неуклюже поковылял в ельник. Отпрянувшее было от вертолетных лопастей воронье снова подтягивалось к логову, перелетая от сушины к сушине, но, увидев группу приближающихся людей с ружьями, осталось на почтительном расстоянии.

Ражный лежал на колодине, когда подошли паны в идиотских тирольских шляпах с перьями и плотных не по погоде охотничьих пиджаках (во всем стремились подражать немцам, западному, «цивилизованному» стилю). С ними оказался районный охотовед и незнакомый милицейский подполковник, которого вчера не было. Жара загнала комаров в траву, однако вся эта компания методично охлопывала себя березовыми ветками.

– Ну, и что тут у нас? – по-хозяйски спросил охотовед Баруздин, в присутствии иностранцев сохраняя официальный тон. – Вижу, волчицу отстреляли. А выводок?.. Вячеслав Сергеич?

Ражный снял сапог и неторопливо поскреб в его носке – будто бы гвоздь мешал или залетевший камешек. Прилетевшие ждали, паря себя зелеными вениками по потным лицам. С Баруздиным у Ражного были хорошие, почти дружеские отношения еще с лесотехнического техникума – начинали бороться вместе, только Ражный тогда был вольником, а нынешний охотовед – дзюдоистом: иначе бы никогда не получить в аренду охотугодя...

– Где волчата, президент? – уже по-свойски спросил охотовед, отделившись от компании.

– Пойдем, покажу, – буркнул Ражный и, взяв за рукав, подвел Баруздина к раскидистой ели, отвел ногой ветку, под которой лежал вскрытый желудок.

Охотовед присел на корточки, пошевелил кончиком ножа содержимое. Панов тоже одолело любопытство, сгрудился за его спиной.

– Хочешь сказать, всех порешила? – Баруздин вытер нож о траву и убрал в ножны. – Такая лосиха... Не может быть. Как минимум пару оставила.

Президент мельком глянул в то место, где исчез волчонок.

– Думаю, всех... С логова подняли накануне щенения. Опросталась, когда гнали вертолетом. Сожрала приплод вместе с последом.

– Поверить и в это можно...

– Матерый ушел – беда будет, – после паузы сказал Ражный. – Придется организовывать облаву, с тебя спросят.

– А я с тебя! – недовольно буркнул Баруздин.

Поляки слушали внимательно, переводя взгляды с одного на другого, а безучастный подполковник, махая веткой, бродил около волчьей могилы, трогал носком ботинка камни, разбросанную землю и еще какие-то невидимые со стороны следы или предметы.

– Ладно, – примирительно добавил охотовед, поразмыслив. – С матерым потом разберемся. Сейчас задача другая, нужен щенок. Вокруг логова хорошо смотрел?

– Можно еще посмотреть, – согласился Ражный. – Если паны желают комаров покормить. В ельниках зажирают...

– А где ваш товарищ? – вдруг спросил подполковник, остановившись возле забытой на земле брезентовой куртки.

Президент мысленно ругнул себя и поединщика Колеватого, занимавшего мысли и чувства, но прикинулся лениво-спокойным.

– Какой товарищ?

– Не знаю, ваш товарищ. – Милиционер поднял брезентуху – хорошо, обмусоленное волчонком место успело просохнуть на солнце. – Чья одежда?

– Моя. – Ражный забрал у него куртку, засунул в свой рюкзак.

Куртка была действительно его, но когда-то отданная Кудеяру...

На этот короткий разговор никто не обратил внимания, поскольку Баруздин взял командование на себя и стал расставлять тараторящих по-польски панов для прочесывания прилегающей к логову местности.

Наблюдательный подполковник на этом не успокоился, обмахиваясь веткой, приблизился к волчьей могиле, демонстративно глянул на десантные ботинки Ражного, затем себе под ноги.

Там на свежевзрытой земле остался след кирзового сапога Кудеяра...

Ражный еще раз ругнулся про себя, но кто бы знал, что принесет нелегкая этого следопыта?.. Он закинул ружье за спину, рявкнул, как и положено начальнику охоты:

– Здесь команду я! Оружие разрядить! Двигаемся на расстоянии видимости, цепью. Внимательно смотреть под елями и особенно в завалах валежника, как будто грибы ищите. Все, пошли!

Поляки и с ними охотовед медленно двинулись по ельнику в сторону логова, а подполковник все еще стоял у могилы и, показалось, ехидно улыбался.

Или морщился от пота, бегущего из-под фасонистой фуражки.

– А вам что, особое приглашение? – грубо окликнул его Ражный, одновременно приближаясь. – Становитесь на левый фланг! Да смотрите, чтобы господа не заблудились! Тут черт ногу сломит! Потом их искать!..

Внезапный напор подействовал: милиционер отступил от могилы к левому флангу на несколько шагов, и этого было достаточно, чтобы протопать и уничтожить ботинками следы кирзачей.

Как будто ненароком, походя...

Однако краем глаза Ражный узрел, что умысел его не остался незамеченным. И мало того, милиционер красноречиво глянул в сторону осины с сорванной корой, у корня которой в траве можно было отыскать волос от сбритой бороды Кудеяра...

4

Волчонок ушел от материнской могилы недалеко, метров на тридцать. И тут, на кабаньей лежке под елью, наткнулся на засыхающий, еще зимний помет. Врожденный инстинкт маскировки запаха мгновенно проснулся и заставил его выкататься в дерьме, после чего он услышал голоса идущих от вертолета людей. От них воняло отвратительным потом на сотни метров, и это пробуждало иной инстинкт – страх, но не трусливый, а, напротив, вызывающий злобу. Он не стал прятаться, ибо, слившись запахом со средой, был неуязвим для человеческого нюха, того не подозревая, что нюх этот совершенно немогущий и к тому же большинство охотников даже не знали, как пахнет волк. Он лег тут же, возле кабаньего помета, наострил уши и тихо, по малой толике потянул носом воздух, улавливая теперь не эти яркие и мерзкие запахи, а сквозь них нечто иное, тонкое – дух, исходящий от людей частыми упругими волнами, напоминающими ритмичные и не ощутимые внешне порывы ветра. В сочетании с головами и шумом движения дух этот был страстным и агрессивным: за ним охотились, его выслеживали, искали, и по тому, как толчки незримых волн становились чаще и плотнее, по тому, как они будоражили собственный дух звереныша, не ведая, каким образом, но безошибочно он определял направление движения каждого человека.

Однако не каждый из них был охотником. Идущий левее укрытия почти не проявлял агрессивности и чего-то боялся сам, поэтому его движения и шаги были робкими и неуверенными, а излучаемый дух не нес в себе опасности. Тот же, что шел справа, напротив, хоть и двигался крадучись, осторожно, но при этом напоминал бурю, катил впереди себя хлесткие, как выстрелы, угрожающие волны. И запах от него был пронзительный, мускусный и отличный от всех других. Охотники были еще далеко, потому волчонок предусмотрительно перебрался под другую ель, поближе к тому, что шел слева, и сделал это неосознанно, повинуясь пока еще смутному внутреннему повелению. Люди наступали довольно плотно, присматривались, поднимали нижние еловые лапы, лежащие на земле, ковыряли ногами подозрительные кустики трав, лезли в завалы гниющих сучьев и лесного мусора; волчонок же неведомым чувством угадывал, что прятаться следует на открытом месте, за которое не зацепится человеческий глаз.

Воняющий как и все люди, но не опасный охотник прошел в двух шагах от него и, медленно удалившись, скрылся за деревом. Как только ослабли и истончились агрессивные волны духа, унесенные вперед, звереныш понюхал ближайший к нему след и подался к другому, самому крайнему, источавшему уже знакомый, хотя такой же скверный запах. Человек, оставивший его, вообще не излучал охотничьей страсти и азарта, не угрожал ему – наоборот, волчонок чуял в нем защиту и помнил его руку на своей холке, такую же крепкую, властную и спасительную, как материнские челюсти. Встав на след, он, не скрываясь, поплелся за этим человеком, опять же повинуясь туманному, повелительному предчувствию, что поступать надо именно так и не иначе.

Люди перекликались, как только теряли друг друга из виду, часто возникал переполох, останавливались и один раз даже грохнули из ружья; волчонок по-прежнему тянулся позади них, боялся отстать или потерять спасительный след и все равно не поспевал. Далее начинались буреломники, перемежаемые болотинами, ельники становились гуще, темнее, так что и в солнечную погоду сюда проникали только отдельные лучи. Тучи комарья повисли за спиной каждого охотника, и чем глубже в лес они уходили, чем ближе было логово, тем слабее и слабее становился их злобный охотничий дух. В самом гиблом месте, среди осклизлых, гниющих завалов леса, под которым шумел почти невидимый ручей и где сквозь кроны уже не просматривалось небо, дух этот вообще испарился, и осталась лишь гадкая человеческая вонь. Люди постепенно сошлись в толпу и встали, озираясь по сторонам. Говорили шепотом, и следом за взглядом,

за движением каждой пары глаз двигалась пара стволов. Вдруг что-то ворохнулось в чашобе, треснуло, и тотчас почти залпом ударили выстрелы, раздались крики, громкий, сдавленный шепот. Картечь долбила по еловым лапам, по ветровальным пням и просто по мшистой земле, изрезанной кабаньими и волчьими тропами. Пальба стояла несколько минут, пока не послышался знакомый голос:

– Было сказано – оружие разрядить и не стрелять!

Другие же загомонили и осторожно двинулись к месту, куда стреляли, но там было пусто. В полном безветрии, царящем здесь, запах порохового дыма и пота смешался и медленно стал растекаться во все стороны.

Бросив поиски, люди вначале попятились, словно столкнулись с упругой, непроницаемой средой, и без всякой команды двинулись назад – шли торопливой, плотной гурьбой, жались друг к другу, и, окончательно утратившие агрессию, сами теперь боялись каждого треска, сами чувствовали себя чьей-то добычей; в них тоже пробуждался древний инстинкт маскировки запаха, и редко кому из охотников не хотелось лечь на звериную тропу и выкататься в кабаньем помете...

Следы их скоро слились в один, и неопытный нюх волчонка не мог отделить одного от другого. Теперь он отстал от людей окончательно, поскольку, выбравшись из завалов и болотин в молодой ельник, они прибавили шаг и скоро ничего, кроме резко пахнущего следа, от них не осталось.

Выбившийся из сил, оголодавший звереныш еще некоторое время брел по следу и готов был уже лечь и заскулить, однако заметил впереди предмет, от которого шерсть на загривке встала дыбом. Это была часть человека, брошенная на землю, – камуфлированная армейская кепка с эмблемой охотничьего клуба. Она источала отвратительный и одновременно притягательный запах, ибо он связывался с человеческой рукой, напоминающей материнские челюсти. Не смея приблизиться, волчонок обошел ее по кругу, сделал угрожающий скачок и заворчал; кепка не шелохнулась, не подала признаков агрессии – вероятно, была мертвой. Вложенная с рождения интуиция подсказывала: все, что мертво, не несет в себе опасности, а, напротив, может служить пищей, но сейчас он ощутил глубокое противоречие, поскольку от кепки исходил не только запах – пока еще более смутная, неосознанная главная сила человека – сила покорения.

И волчонок уже испытал ее однажды, когда очутился в его руках...

Сейчас эта сила была спасительной, и он еще не понимал, что спасти она может лишь жизнь.

Так и не осмелившись тронуть кепку, он лежал возле нее и тихо скулил, будто оплакивал свою свободу – короткий и трагичный ее миг, однако же навеки закрепленный в памяти.

Человек вернулся за своей утраченной частью спустя часа два и, увидев волчонка, разозлился:

– Ты что здесь делаешь? Пошел вон!

Волчонок лежал возле кепки, глядя печально и обреченно. Потом и человек стал смотреть так же, словно сам собирался в неволю.

– Ну что, брат, делать-то будем? – спросил он. – Навязался ты на мою голову... Отдать бы тебя полякам – за границу бы поехал и жил бы там припеваючи. У самого президента на псарне. Не слабо, да? А я вот вмешался в твою судьбу и подпортил будущее... Ну, что молчишь?

Звереныш слушал клекочущую человеческую речь, наострив уши и склонив голову набок. Человек внушал страх и доверие, ибо в голосе его слышалось отеческое ворчание.

– Да ты, брат, молчун... А ведь голодный, и душа, поди, в пятках... Понимаешь, нечего делать тебе на псарне. Лучше уж с голодухи подохнуть, чем стали бы тебя панские псы гонять, как шелудивого, и за ляжки хватать. Натаскались бы они по тебе и возгордились, что волка могут брать. Но собаки – они и есть собаки, их доля – служить, а твоя совсем другая, волчья...

Человек надел на голову кепку, сидя на корточках, поманил рукой.

– Иди сюда... Нельзя мне брать на себя зависимую душу, тяжело будет, да что же с тобой делать?.. Давай иди, ты же сделал выбор – жить хочешь. А если хочешь – сдавайся, иначе сдохнешь через день, и отлетит твоя волчья душа... Только не знаю, куда тебя деть? Была бы у меня жена – может, выкормила бы из соски. А жены у меня нет... Кто кормить станет? Это же сколько раз в день возиться придется. Мне же некогда... Витюле поручить – тебя жалко, кого он выкормит? Превратишься в собаку, будешь служить, лаять научишься... В зоопарк на посмешище отдавать тоже нельзя, да и сдохнешь нынче там с голодухи. Вот, брат, как выходит: лучше зверем погибнуть, чем к человеку идти. Хреновый ты выбор сделал... Да ладно, что же теперь. Сделал – так сделал. Я тоже сделал. Полезай вот сюда.

Взяв щенка за шиворот, посадил в боковой карман и застегнул «молнию» так, чтобы осталось отверстие для воздуха.

Но это был уже иной воздух – неволя...

Сначала его посадили в «шайбу». Человек принес обрывок невыделанной шкуры, бросил у стены и посадил волчонка.

– Посиди пока, – сказал он. – Найду молока с соской – покормлю. А нет – терпи...

Звереныш побродил по шкуре, спустился на ледяной пол и скоро затрясся от холода. Сначала он заскулил, призывая на помощь, потом озлился и призывно завыл. Всякий волк немедленно бы откликнулся на этот голос, однако его услышали собаки в вольере, залаяли, поджав хвосты. И еще на вой откликнулся человек – Витюля, который оказался неподалеку и пошел взглянуть, что за звуки идут из мясного склада.

Замка на двери не было, один лишь засов, поэтому бывший сварщик откинул его и, оказавшись в «шайбе», сразу же увидел волчонка. О том, что поляки охотятся на логове и мечтают заполучить щенка, он знал, однако паны за два дня так его достали своими капризами и скупердяйством – всего-то одну стопку налили, да и то какой-то бурды, – что Герой решил наказать их. Тем временем охотники, поджидая транспорт, сидели в зале трофеев и хмуро пили халявную водку, выставленную в утешение московскими партнерами. Витюля поймал волчонка, спрятал за пазуху и с оглядкой прошмыгнул в свою каморку при кочегарке.

– Не достанется же моя люлька проклятым ляхам! – твердил он словами Тараса Бульбы, хотя знал, что возвращать волчонка все равно придется. Например, в тот момент, когда поляки будут уже в полном отчаянии: тогда с них можно сорвать литра три в качестве премии.

Устроив щенка в бельевого ящика старенького дивана, он отыскал вместо соски клизму, за неимением настоящего молока развел водой сгущенку и стал поить. Голодный волчонок жадно опустошил две груши и мгновенно уснул с раздувшимися боками. Герой завернул его в тряпки, сунул в диван и, довольный, отправился было в базовую гостиницу, чтобы посмотреть, как забегают паны, когда хватятся, но по дороге внезапно для себя решил, что не отдаст волчонка ни за водку, ни за деньги. У благодетеля Ражного, конечно, будут неприятности, но ничего, перетерпит. В конце концов, щенок мог сам убежать из «шайбы» по крысиным норам, которых было полно, как бы Витюля ни забивал камнями яму, откуда торчал толстый обесточенный кабель.

На удивление, поляки даже не заикнулись о волчонке, не подняли тревоги, полупьяные, благополучно погрузились в микроавтобус и, не прощаясь с президентом клуба, отбыли к московскому поезду. И только тогда Герой сообразил, что украл волчонка не у ляхов, а у Ражного.

Это подтвердилось спустя десять минут после отъезда гостей, когда Витюля делал уборку за ними. Президент вошел в зал трофеев с бутылкой молока и натянутой на нее соской.

– Витюль, ты в «шайбу» не заходил? – спросил он настороженно.

Ему бы сразу признаться, рассказать правду и покаяться, но Герой уже выпил полстакана, слив остатки из бутылок и рюмок, потому был храбр и свободен.

– Не заходил, – соврал он. – А что?

– Волчонок пропал, – грустно проговорил Ражный и сел в кресло. – Наверное, ушел... Там, на входе кабели крысиные норы, а он такой шустрый был, сообразительный... Теперь подохнет, жалко.

Герой мыл посуду, столы, пылесосил пол, а президент все сидел и тосковал. Мало того, сходил в кладовую, принес бутылку, взял чистую рюмку, однако пить не стал, будто вспомнив что-то. Но и трезвый, вдруг разозлился и орать стал:

– Сколько раз говорил – залей бетоном яму! Еще зимой, когда крысы мясо побили! Говорил я тебе?!

Выпивший Герой становился гордым и независимым – ведь и алкоголиком стал лишь по этой причине.

– Я за одни харчи на тебя пахать не буду! – заявил он. – А то нашел дурака! Я – Герой Социалистического Труда!

Снял фартук, швырнул его посередине зала и демонстративно ушел.

В каморке у себя он сразу же завалился спать, напрочь забыв о волчонке, но под утро проснулся от громкого сердитого рыка. Щенка пронесло, и пить разбавленную сгущенку он отказывался, выплевывал пластмассовый наконечник груши и еще норовил ухватить за руку. Витюля протрезвел и теперь чувствовал всю тяжесть вины и ответственности, а от воспоминания, как ушел от Ражного, хлопнув дверью, вообще стало тоскливо. А тут еще волчонок, немного поскулив, взвыл – то ли от голода, то ли от болей в животе и поноса. Завернув в тряпку, Герой понес щенка назад, в мясной склад, замышлив подбросить его и тем самым восстановить прежние отношения, однако увидел возле дверей «шайбы» президента. Он сидел совершенно трезвый, потому что вообще не пил, даже при сильном расстройстве, и находился в каком-то возвышенном состоянии – будто стихи сочинял.

И в этом же состоянии поднялся и пошел куда-то по старому проселку за территорию базы.

Это ночное бдение говорило об одном: Ражный был в крайней степени возбуждения, что с ним случалось редко, а значит, можно было не надеяться на прощение. Конечно, причиной стал потерявшийся волчонок – другой просто не было: на неудачную охоту иностранцев он плевать хотел. Поэтому мысль отпустить украденного щенка на свободу Витюля отменил сразу же и бесповоротно; напротив, теперь придется беречь и выхаживать его, чтобы потом, улучив момент (если только утром не вышвырнет с базы!), подбросить или «случайно» обнаружить.

Иначе снова придется надевать Звезду, черные очки и – с протянутой рукой по электричкам.

– Помогите Герою Социалистического Труда! Я потерял зрение от электросварки, выжег глаза. Меня вышвырнули с работы! А гнусный воровской режим отнял квартиру!

На самом деле видел он хорошо и прекрасную квартиру в обкомовском доме потерял вследствие незаконных манипуляций мэра города, когда всех лишних и простых переселяли из центра на рабочие окраины, освобождая элитное жилье. Витюля почти не врал, и Ражный, однажды встретив его в электричке, поверил, пожалел и привез сюда, на базу. Правда, никакой базы тогда еще не существовало, а стоял полузавалившийся родительский дом, а кругом дичь, запустение и непуганные звери.

Волчонка пришлось снова засадить в диван и бежать на поиски козы, иначе молока не достать – ближайшая деревня в девятнадцати километрах. Козу Герой купил, чтобы лечиться от алкоголизма, посоветовал один «новый русский», бывший на охоте, но молоко почти не помогало, все равно мучила жажда, и потому животиная гуляла в окрестностях сама по себе, и доили ее все кому не лень. Витюля примерно знал, где она пасется, и, прихватив веревку, пошел с надеждой привести ее и привязать на базе, чтобы все время была под руками.

Спускаясь в лощину за бывшей пилорамой, он издалека заметил дымок костра и насторожился: посторонних тут быть не могло, если только кто из егерей...

Возле тлеющих головней на земле спал Кудеяр, а чуть в стороне лежала полураспотрошенная и полусъеденная коза. Отсутствовали обе передних ноги с лопатками, грудина, и одна задняя ляжка жарилась над огнем, привязанная за копыто к жердине. Возле перемазанного сажей и жиром бандита валялись кости с остатками красноватого, недожаренного мяса; сам он, объевшийся, тяжело дышал и ворочался. Рогатая козья голова стояла у него в изголовье, насаженная на кол.

Витюля снял с костра обгорелую, истекающую жиром ляжку, взял, как дубину, и стал бить Кудеяра – в основном по роже и пузу. От первого же удара тот взвыл, огненный жир попал в глаза; бандит орал, катался по земле, насмерть перепуганный и не понимающий, что с ним происходит. А Герой только входил в раж, чувствуя, как захлестывает и окончательно слепит незнакомая, всевластная ярость. И когда ошеломленный Кудеяр перестал кричать, превратился в тряпичную куклу и лишь вздрагивал от ударов, он понял, что сейчас забьет свою жертву насмерть.

Но удержал себя, сел под дерево, не выпуская из рук козьего копыта и с удивлением прислушиваясь к собственному состоянию. Глазом же косил в сторону веревки, с помощью которой собирался трелевать животину на базу, и думал при этом, мол, не плохо бы набросить удавку на шею бандита и подвесить его над головнями...

Устрашившись такой мысли, он пошел на базу и по дороге, в сильном возбуждении, стал есть недожаренную, но обуглившуюся козью ляжку. Мясо оказалось несоленым, отвратительного вкуса да еще и застревало в зубах. Тогда он отшвырнул его и бегом вернулся в каморку. Волчонок уже не скулил – орал благим матом и снова отказывался пить сгущенку и, облившись ею с ног до головы, стал липким, каким-то обшарпанным и жалким.

Витюля был уже в полном отчаянии, усиленном похмельем – хоть самому в петлю полезай! – когда услышал за стеной лай гончака – месяц назад оценившейся суки Гейши, которую, за неимением отдельного вольера, содержали в кочегарке. Это была материнская реакция на голодный крик щенка! Мысль показалась ему простой и оригинальной – не теряя времени, он схватил звереныша и через внутренний тамбур (зимой Герой попутно отапливал базу) попал к собаке. Гейшу кормил и обслуживал один из егерей, знающий толк в гончаках, Витюлю к этому не допускали. Подросшие щенки резвились на полу, а их мать, едва почуяв волчий запах, поджала хвост и уползла в угол.

– Ладно тебе, дура, он ребенок, – успокоил Герой и подсунул звереныша под брюхо Гейши. – Слыхала же, орет...

Она тряслась, обнюхивая липкого волчонка, однако не сопротивлялась, а он без всяких прелюдий вцепился в собачий сосок и зачмокал, поддавая мордой вымя. Витюля почти торжествовал, подстраховывая, чтобы сука случайно не прихватила подкидыша зубами. Один за одним он опустошил все шесть сосков, еще раз прошелся по этому кругу, дотягивая последние капли молока, и когда Герой лишь чуть ослабил свою руку на ошейнике, Гейша вдруг дотянулась до звереныша и принялась вылизывать его с той же старательностью и полным отсутствием зла или брезгливости, будто своих щенков. Разве что подрагивала от страха, когда обнюхивала волчонка. Вычистила, выгладила все части тела, особенно тщательно подсохшую пуповину и задницу, – приняла!

Не успел Витюля еще по достоинству понять и оценить, что произошло, как насытившийся мурлыкающий звереныш внезапно изогнулся и благодарно лизнул собачью морду...

А его отец, бродячий волк-одиночка, оплакав погибнувшее семейство, вышел на разбойную дорогу.

Первый сигнал охотоведу пришел в тот же день, после охоты на логове: из бывшего колхоза, а ныне захиревшего товарищества, расположенного в охотугодьях клуба, по телефону

сообщили, что средь бела дня матерый волк выскочил на пастбище, где бродили без пастуха остатки дойного стада, и уложил трех коров и телку, а еще нескольких покусал.

Зарезал по-бандитски, просто так, не съев и куска мяса. И людям ничего не досталось, поскольку скот пасся бесхозно, и когда нашли коровьи туши, они уже вздулись на жаре.

Баруздин знал, чья это работа и кто виновник, поэтому вечером помчался к Ражному.

– За скотинку-то заплатить придется, Сергеич, – мягко сказал он. – Иначе товарищество по судам затаскает.

К тому времени Ражный уже разослал егерей по округе в погоне за матерым. Двое из них были хорошими волчатниками, брали зверей на бабу, и была надежда, что волк откликнется: тоска по возлюбленной – она и у зверя тоска. Охотовед знал об этом и лишь потому не скандалил. Однако же спросил, пряча глаза:

– Сам-то что сидишь? Тебе сейчас дневать-ночевать надо в лесу.

– А вот сейчас и пойду. – Ражный взял ружье, ламповое стекло и подался по проселку, но не за матерым, а на встречу со своим тайным гостем.

Колеватый уже поджидал его на вчерашнем месте и выглядел значительно увереннее – источал добродушие, радовался местной природе. Это было нормально, что приходящий вольный поединщик некоторое время вынужден был ждать, когда его соперник – аракс, имеющий свою вотчину – дубовую рощу, где предстоит схватка, доделает свои текущие дела. Ему даже была на руку эта оттяжка: все-таки чужое место, чужие звезды над головой и незнакомый космос, и чтобы победить, ко всему этому не просто следует привыкнуть, а попробовать найти энергетические связи и подпитку. Грубо говоря, полежать на чужой земле, подышать воздухом и в небо насмотреться, как в глаза любимой.

По рассказам отца, случалось, что нагрянувший поединщик до месяца обживал пространство, ожидая, когда вотчинник освободится от дел земных. Но всякая отсрочка была не во благо хозяину: он вынужден был, постоянно встречаясь с соперником, объяснять причину отсрочки – каждое его слово проверялось.

И упаси бог почувствует малейшую фальшь! Тогда просто уедет победителем, не вступая в схватку, и будет прав.

Должно быть, Колеватый уже прослышал и об охоте на логове, и о вышедшем на дорогу мести волке, порезавшем колхозный скот, известие воспринял без лишних расспросов, однако сделал паузу и неожиданно попросил:

– Извини, Ражный, а ты не мог бы взять и меня? – кивнул на ружье. – Никогда не был на волчьей охоте. Время есть, все равно болтаюсь...

Все выглядело весьма убедительно – тон, голос и глаза, но Ражный мгновенно раскусил замысел поединщика – хотел посмотреть на соперника в деле и просчитать его тактику в предстоящей схватке. Охота, как ничто иное, практически полностью выдает психофизический тип характера.

Ражный сделал из этого единственный вывод: Колеватый был опытным борцом, и будущий его поединок – даже не десятый. Дело в том, что ни явившийся на схватку странствующий вольный поединщик, ни вотчинник, в роще которого предполагался бой, не знали и знать не могли, сколько каждый из них провел состязаний в дубравах и с каким результатом. Если, разумеется, араксы сами не выдавали каким-либо образом эту сокровенную тайну. Колеватый мог лишь догадываться, что Ражный готовится к своему первому поединку в дубраве, как сейчас Ражный угадывал в сопернике его опытность.

Впрочем, это мог быть всего лишь психологический прием давления – как бы ненароком, косвенно подтвердить предположения противника. Мол, гляди, я стреляный волк...

– Если сильно хочется, пожалуй, возьму, – подумав, согласился Ражный. – Матерый коров порезал, так егерь засидку сделал, а ждать зверя некому. Желание есть – покарауль пару дней. Найдешь выпас за деревней Стегаиха, там туши лежат, а лабаз увидишь.

И подал ружье.

Это ему было не по нутру! Не такой охоты он ожидал, да назвался груздем – и отступить было нельзя. Колеватый взял ружье, патронташ, глянул на часы.

– Так сейчас и отправляться?

– Давай!

Ражный не знал ни его профессии в миру, ни увлечений, однако посмотрев, как поединщик обходится с оружием, сразу же определил военного человека. И это было очень важно! Род занятий накладывает свои отпечатки, быт диктует бытие, а бытие определяет сознание, как учили в школе...

На месте разбоя возле туш действительно сделали лабаз, но сидеть там было совершенно бесполезно: мстящий людям зверь никогда назад не вернется, ибо это не добыча, не пища – жертва.

Разосланные по всем близлежащим деревням егеря сейчас больше напоминали сторожей скота, а не охотников и торчали там в надежде, что кто-нибудь из них окажется в нужный час и в нужном месте, однако это пальцем в небо. Как и следовало ожидать, матерый был непредсказуем и в следующий раз, теперь уже вечером, залез в загон фермера, державшего на откорме бычков, – туда, где его не ждали: в сотне метров дачная деревня, народ ходит и ездит ежедневно, кругом поля и до леса добрых три версты. Ничего не удержало! Ворвался на глазах фермерской жены, рассыпавшей комбикорм в корыта, и та приняла его за овчарку Люту, прогнать попыталась, замахнулась ведром. Волк ощерился на нее, догнал и с ходу вырвал у бычка промежуток. Молодняк шарахнулся, разнес изгородь, а он погнал его к лесу, вырывая куски у всех подряд. Пятеро сдохли сами, и двух порвал изрядно, так что прирезать пришлось. Выложил их в одну строчку, на расстоянии ста метров друг от друга – верный признак, что месть еще не закончилась.

Фермер хохотал, бродя между телячьих туш с окровавленным ножом, радовался, что наконец-то вволю мяса поест, и посылал жену жарить свеженинку.

Потом по-волчьи выл, поскольку бычки были его последней надеждой выкарабкаться из нищеты и долгов, чужих взял на откорм, осенью хозяину сдавать, по головам...

На сей раз Баруздин приехал сердитый, в дом не зашел, вызвав Ражного на крыльцо. В прошлом он работал шофером, возил районное начальство, устраивал для него охоту на кабанов и лосей и потому, когда власть сменилась, не пропал, оказался в охотоведах. Правда, комплексовал и страдал, что не имеет никакого образования, а еще из-за своей лысины вполголовы носил прозвище – Кудрявый. И чтобы защититься, напускал на себя неприступность, говорил мало, многозначительно, смотрел хитровато, замкнуто и отличался нестигаемой принципиальностью. Когда-то к Ражному относились в районе как к герою, особенно после «горячих точек» и ранения и, если он приезжал в отпуск, устраивали с ним встречи в Доме культуры, местное руководство приглашало на пикники, охоты и рыбалки. Потом это помогло организовать охотничий клуб и взять в аренду угодья, но жить долго старым жиром не позволяли время и нравы.

Тем более начала отзываться неудачная охота на логове: Баруздина трепали и за то, что поляки уехали недовольные, и за порезанный скот, и теперь он приехал трепать своего однокашника.

А ведь это он уламывал Ражного организовать для панов охоту и еще намекал, дескать, за поставку клиентов с тебя причитается...

– Что делать-то будешь, Вячеслав Сергеевич? – спросил официально. – Две телеги на тебя в прокуратуру ушли. Или платишь за нанесенный хозяйствам ущерб и добиваешь волка, или...

Он не договорил. Да и так было понятно, что следует за вторым «или» – изъятие охотугодий.

– Извини, есть все основания, – добавил. – Нарушение договорных обязательств. Там определенно сказано: деятельность клуба не должна наносить ущерба сельскому хозяйству. Это же твой волк скотину режет? Твой. Знаешь, и мне наплевать на все твоё колдовство.

– Какое колдовство? – спросил Ражный, глянув на охотоведа в упор – тот все-таки отвернулся. – Опять за старое?

– Люди говорят... Твой папаша такие дела выделял. Только я в это не верю, потому не боюсь. Со мной ты ничего не сделаешь.

– Темный ты человек, Гриша... Это не колдовство.

– Знаю, сейчас называют – феномен.

– Матерого я возьму, – чтобы уйти от темы, заявил Ражный. – А платить не буду. Нечем. Да и инициатором охоты был не я, не моя это прихоть.

– И не моя! – поторопился отбояриться Кудрявый. – Думаешь, на меня не давили с этими поляками?.. А формально начальником охоты был ты, и вся вина за неправильную организацию на тебе. Так что смотри.

Сел в машину и укатил, не попрощавшись.

Это было серьезное предупреждение, плотный захват в выгодной позиции, и теперь оставалось или махнуть рукой и ждать броска, или сопротивляться. Самый верный выход был единственный – добрать стреляного разбойника, но Баруздин отлично понимал, что сделать это практически невозможно, хотя Ражный считался единственным опытным волчатником в районе. Это не февраль, когда президент клуба организовывал для немцев показательные, королевские охоты на волков во время спаривания. Те уезжали с трофеями и вытарашенными глазами, откровенно полагая, что серые хищники в России – ручные, ибо в их представлении такой легкой добычи быть не может.

Никто из них даже не подозревал, сколько дней и сколько километров накручивал президент на снегоходе, прежде чем находил болото с тропами, набитыми волчьей парой. И как потом загонял зверей по глубокому снегу до изнеможения, чтобы придавить лыжей «Бурана» и ждать, когда подвезут в нарте немца. Немец становился на номер, а Ражный освобождал волка и гнал его чуть ли не хворостиной, чтобы добрал на выстрел охотника.

Вся такая охота занимала три-четыре минуты...

Как все это делается, знал Баруздин и, будучи в хорошем расположении духа, откровенно восхищался упорством Ражного. И точно так же знал, что значит летом взять матерого-одиночку, вышедшего на дорогу мести.

Предсказать или угадать, где серый бандит появится в следующий раз, было невозможно, а ждать третьего и четвертого нападения, чтобы вывести хоть какую-нибудь закономерность его передвижения, – слишком большая цена и огромная трата времени перед поединком, когда нужно сосредоточиться на себе самом и изучать соперника.

От зависимой души он освободился, разрешил все дела и заботы, которые бы сковывали собственную. И вот осталось одно, оказавшееся самым главным препятствием первой в жизни схватке в дубовой роще, и было оно хуже, дряннее, чем избавление от приبلудного Кудеяра.

На вабу матерый не откликался, свои марш-броски из конца в конец охотугодий совершал только ночью, отчего и разбойничал днем. И не оставлял следов ни на пыли и грязи дорог, ни на песочных высыпках – двигался исключительно по мелким ручьям, опасные участки переходил по ветровалу, избегал полей и других открытых мест.

Волка можно было взять, лишь самому обернувшись серым хищником. Конечно, не в прямом смысле обернуться – войти в состояние, когда полностью освобождены от всего земного чувства, способны подниматься над землей и парить в полете, очень схожем с полетом летучей мыши, а тело в тот миг по выносливости и крепости становится равным волчьему.

И повиснув у мстящего зверя на хвосте, догнать его, где бы он сейчас ни находился.

Но это значило – ослабить себя перед схваткой, израсходовать тот запас энергии, которого потом не хватит в поединке...

И все-таки он решился.

В тот же день, после визита Кудрявого, Ражный спустился к реке неподалеку от базы, чтобы не отвлекали, развел символический, почти бездымный костерок, лег к нему ногами, а головой к воде и пролежал так часа два, замороженно глядя на космы вихрящихся струй, отвлекся, постепенно успокоился и, поддерживая в себе это умиротворенное, даже сонливое состояние, медленно собрался и на малой скорости порулил в дачную деревню.

Жена фермера стояла у магазина, ревела и торговала мясом, благо что покупателей летом было порядочно и цена совсем бросовая, хотя фермер успел перехватить еще теплым бычком горло и спустить кровь. Сам же он сейчас валялся пьяным в кормушке, и оставленный в загоне молодняк ревел от голода.

Из дачников здесь был всего один знакомый – Прокофьев, приезжавший к нему на охоту, – интеллигентный обнищавший старик, родственник знаменитого композитора, запа-сающий себе и своему псу корм на зиму. Сам в основном питался овощами, однако огромная немецкая овчарка Люта не выдюживала на морковке и картошке, требовала мяса, и старик занимался его заготовкой с началом охотничьего сезона на лосей. Он запрягал собаку в велосипед, если по чернотропу, или становился на лыжи, когда был снег, и ехал на буксире к Ражному на базу: эта зверюга отличалась хорошими ездовыми качествами, приученная с детства. Охотника из Прокофьева так до старости и не получилось, но он старательно отрабатывал свой кусок лосятины, а главное – требуху и головы от лосей, хватаясь за любое дело, вплоть до мытья полов в гостинице. Невероятно щепетильный, подарков он не принимал, и тем более подачек, и тогда Ражный придумал форму, как помочь старику: после нападения Кудеяра брал Люту для охраны базы, когда уезжал надолго. Звонил через сельсовет старику, тот выводил овчарку со двора, спускал с поводка и говорил:

– Люта, иди служить.

Через час-полтора собака уже сидела возле крыльца дома Ражного и чуть ли не сама пристегивалась к цепи. Возвратившись на базу после отлучки, Ражный привязывал ей на спину кус мороженого мяса и благодарил за службу.

Сейчас он заехал к Прокофьеву и попросил истопить нежаркую баню. Хозяин уже был наслышан о последних событиях и лишних вопросов не задавал, чутко уловив особое состояние покоя неожиданного гостя.

Ражный сам заварил щелок на горячей золе, раскаливая в банной печи округлые камни, и после этого снял деревянное ложе с карабина, тщательно отмыл все металлические детали, собрал его и, не присоединяя приклада, зарядил. И эту железную клюку завернул в чистую тряпку. Потом стал мыться сам, без мыла, одним щелоком, прислушиваясь к собственным чувствам. Перед выездом он ничего не ел и все-таки, повинувшись внутреннему позыву, промыл желудок, дважды выпив по трехлитровой банке речной воды. После бани переоделся в белое солдатское белье, повязал голову куском чистой тряпки, на такую же тряпку, скрутив ее веревкой, повесил на пояс пустую солдатскую фляжку, а ноги оставил босыми.

– Вы как на смерть собрались, – невесело пошутил старик.

– На смерть – в белых тапочках, – проворчал он.

– Ну, ни пуха ни пера.

– К черту, – уходя в сумерки белым привидением, бросил Ражный.

Волчий след он взял с места, где пал последний подрезанный бычок. След был не реальный, относительный, ибо на стриженной скотом траве своих настоящих следов зверь не оставил. Стараясь не расплескать упокоенную и усмиренную душу, он лег приблизительно на то место, куда матерый отскочил, свалив телка на землю. Лег сначала на живот, раскинув руки, затем перевернулся на спину, закрыл глаза и полностью расслабил все мышцы, будто отды-

хал перед решающим поединком. Справиться с телом было легче всего – труднее освободить голову от всяческих мыслей, уловить момент – короткий, длящийся всего несколько секунд, когда не думается ни о чем и сознание становится отмытым и стерильным, как белый речной песок.

Лежал, слушал себя, как врач, прикладывая трубку к частям тела и внутренним органам. Что-то мешало, ритмично прокалывало сознание вместе с биением крови. Он мысленно и как бы со стороны еще раз осмотрел себя и обнаружил причину назойливых сигналов – детородные органы. Вялой рукой поправил их положение, усмирил самую сильную часть существа.

И уловил момент полной прострации, когда подступала легкая, полупрозрачная дрема. Был великий соблазн продлить мгновение, и у него это не раз получалось, но сейчас следовало вновь включить сознание единственной фразой-мыслью:

– Я – волк.

Но не удерживать ее более в голове – загнать в позвоночник и отныне думать только им. Чувствовать позвоночником, видеть и слышать...

Это был древний способ внутреннего перевоплощения, незрячими, суеверными людьми называемый – оборотничество. Скудоумие, беспамятство и закономерный поэтому страх перед тем, что нельзя пощупать рукой или увидеть глазами, создали вокруг такого явления ореол колдовства, нечистых чар, и под мусором предрассудков позвоночный столб вместе с его мозгом превратился в бытовую конструкцию, костяную форму, позволяющую человеку лишь прямо ходить, носить голову и страдать от радикулита. Все остальное, считалось, от лукавого...

Если так, то все человечество произошло от лукавых: в далеком прошлом люди без всякого напряжения переходили в подобное состояние, ибо созданы были по образу и подобию Божьему и тогда еще не только знали, но и чувствовали это.

Отец Ражного называл это состояние «волчья прыть», а парение чувств – «полетом нетопыря»: летучая мышь передвигалась в пространстве, находясь в особом поле восприятия мира, когда он весь состоит не из привычных вещей и предметов, а из полей, излучаемых живой и мертвой материей. Все сущее на земле оставляло не только следы в виде отпечатков подошв, лап и копыт, не только оброненную шерстинку, перо или экскременты, но и другую их ипостась, чем-то напоминающую инверсионную дорожку, оставляемую самолетом в небе. И если там видимый след был результатом выброса тепла и газа в атмосферу – вещей зримых и понятных человеку, то здесь все связывалось с существованием невидимых и неосязаемых, как радиация, энергий.

Утратив былые способности, прирученная собака, например, еще могла ходить по следу запаха или по звуку и движению, сочетаемых с запахом, – так называемое верховое чутье. Она еще могла, живя рядом с человеком и постоянно находясь в его поле, ориентироваться на местности,лизать рану, отыскать необходимую лечебную траву, предчувствовать грозу, бурю, землетрясение, но человек уже не владел и этими способностями. Он был слеп и глух, а окружающий мир по этой причине казался ему злобным, непредсказуемым и опасным для жизни.

Так вот, абсолютным совершенством восприятия среды обитания был нетопырь, умеющий, как и миллионы лет назад, видеть и слышать излучаемые поля – тончайшие энергии, оставляемые в пространстве живой и неживой сущностью.

Подниматься в небо и парить чувствами было довольно легко – все зависело от чистоты выделяемых местностью энергий, и для взлета иногда требовались считанные секунды. Вторым существом после нетопыря был волк, и чтобы выследить его, хватило бы и чуткости чувств летучей мыши, но чтобы настигнуть и победить, следовало самому перевоплотиться чувствами в серого зверя и обрести его прыть. А это как раз и требовало огромных физических усилий.

– Я – волк, – записал он мысленно на чистом листе сознания и тотчас ощутил, как от основания черепа до копчика потекла согревающая горошина, словно капля горячего пота. И при-

выкая к воле разбуженного позвоночного мозга, он пролежал еще несколько минут и хотел было встать, но в это время проснувшийся и еще пьяный фермер проявил бдительность, взял ружье и припелся взглянуть, кто это там валяется на выпасе. Встал как вкопанный перед белым, распростертым на земле человеком, захлопал ртом, выронил ружье и замахал руками, не в силах двинуться с места. Было слышно, как лязгают зубы и дребезжит его душа, будто он вступает в ледяную воду.

– Иди спать, – приказал ему Ражный и медленно поднялся.

Фермер наконец заорал, попятился и уже через мгновение мчался прочь чуть ли не на четырех, поскольку то и дело запинался и хотел сохранить равновесие.

Должно быть, принял за привидение или напился до чертиков...

За ним вился желтый дымок следа, полный смутения, паники и ужаса. Он чем-то напоминал пятно такого же тумана, оставшегося на месте, где волк повалил на землю бычка. Смертный страх имел одно и то же свойство и окраску, что у животного, что у человека. Но матерый оставил совершенно иной след – след огненной ярости, и это свечение дымной дорожкой уходило к лесу. Ражный поднял сверток с карабином и пошел рядом с ним, как по берегу ручья, не касаясь следа, будто опасался замочить ноги.

В этом состоянии его, как лунатика, нельзя было отвлекать и будить...

На опушке леса, в густых зарослях след немного позмеился и почти оборвался у большого пятна: волк залег здесь, чтобы посмотреть на плоды своей мести. Отсюда хорошо были видны загон и выпас, где учинен разбой. Зверь торжествовал, взирая на человеческое горе, и дальше потрусил в полном удовлетворении от содеянного, поскольку цвет ярости после всяческой игры его оттенков медленно преобразовался в белую пунктирную строчку. Волк на некоторое время стал самим собой – гордым и благородным зверем.

До глубокой ночи Ражный бежал этим следом, по-волчьи перескакивая через ветровал, ручьи и мочажины. И если матерый часто останавливался, выслушивая пространство впереди, или подолгу трусил легкой рысцой, то уподобившийся ему человек, напротив, прибавлял скорости в этих местах и таким образом сокращал расстояние. Пересекая малые речки и ручьи, он некоторое время бежал по воде, хватал ее на бегу горстями, пил, хотя можно было бы набрать во фляжку, и, так и не утолив жажды, снова выскакивал на берег.

Перед рассветом, оставив позади километров тридцать, Ражный оказался на старом, безводном горельнике, затянутом молодым осинником. Здесь волк выкатался на зольной, перемешанной с углем, земле, похватал нижние листья медвежьей пучки, поскольку тоже страдал от жажды, и, углубившись в высокие травы, лег на отдых.

Он в точности повторил все действия зверя, превратив свою несуразно белую одежду в пятнисто-серый с зеленоватым разливом камуфляж, однако на лежке задержался лишь на мгновение, чтобы подсечь выходной след.

Теперь уже было ясно, что зверь идет к Красному Берегу – бывшей деревне, где сейчас жил со своей семьей горемычный мужик по фамилии Трапезников – всего в семи километрах от базы! Даже в голодовку никогда раньше волчья семья не трогала скот в близлежащих к логову хозяйствах, соблюдая жесткий неписанный закон добрососедства. Получалось, что человек первым нарушил его и теперь пожинал плоды...

Несколько замкнутый, но с вечно блистающим взором, Трапезников поселился здесь одновременно с Ражным. Приехал он откуда-то из Сибири, где много лет работал штатным охотником, и в середине своей жизни захотелось ему покрестьянствовать в средней полосе России, пожить независимым от удачи промыслом, покормиться не ружьем и веслом, а трудами на земле. Он поклялся не брать больше в руки ни оружия, ни ловушек и после долгих мытарств получил ссуду и сорок гектаров запущенных сельхозугодий в глухом углу при абсолютном бездорожье. И бился на этой земле уже пять лет: первый год выращивал картофель, который оказался никому не нужным и замерз в начале ноября, вывезенный в условленное

с покупателем место, но так и не востребованный. Затем развел коров и стал бить сливочное масло – экологически чистый продукт, который опять же топили от жары и портился, ибо рынок был завален французским и новозеландским аналогичным товаром.

Отчаявшись, на третий год забил свое стадо, продал мясо цыганам и взялся выращивать лук и чеснок – благо, что урожайность их в этих местах была потрясающей. Результат оказался таким же плачевным: продал лишь семьдесят килограммов, остальное замерзло и сгнило. И наконец плюнул на чисто крестьянский труд, заключил контракт с некой посреднической фирмой в Москве (соблазнил случайный знакомый) и занялся разведением лошадей, которых с детства любил и ставил по благородности и разуму на второе место после человека. Да не простых чистопородных, а исключительно пегих, поскольку фирма обязалась покупать у него весь приплод двухлетнего возраста и продавать в Европу, где была мода на таких лошадок.

Два года Трапезников пластался на покосах, овсяных полях и своей конеферме и с великими трудами произвел и вырастил первую партию из пяти жеребят, для чего собрал со всей области всех пегих маток и отыскал двух жеребцов-производителей.

Волк теперь шел по направлению на Зеленый Берег. Новоиспеченный конезаводчик действительно не брал в руки оружия, однако в нем, вероятно, остался сильный охотничий азарт, да и сыновья его, Максы, никаких клятв не давали и потому не гнушались зверовым промыслом, всюду ездили с ружьями, и теперь матерый, подозревая их в разорении своего гнезда, шел мстить совершенно безвинным крестьянам.

У несчастного новопоселенца было шестеро детей, рожденных еще в Сибири, в охотничьих зимовьях, вдалеке от школ и цивилизации, так что двое старших парней вообще не закончили ни одного класса и по этой причине даже в армию не призывались, а четверо младших с великим родительским напряжением учились в селе за тридцать километров.

И вряд ли упорный Трапезников выдержит на сей раз удар судьбы – несправедливую волчью месть...

От последней лежки матерый оставлял за собой красноватый, словно обагренный кровью, мерцающий шлейф – вновь начинал яриться, и Ражный, рискуя утратить свое волчье, позвоночное зрение и потерять след, мчался уже со скоростью спринтера.

Сильнейшее физическое напряжение помогало находиться в «полете нетопыря», но одновременно быстро растрачивалась своя собственная энергия. Тогда, в Таджикистане, лежа с дырой в боку, Ражный вывел себя из болевого шока, остановил кровь и держал ее, паря летучей мышью, в течение семи часов. Это был его личный рекорд. В вертолете же он мгновенно потерял сознание и очнулся лишь в госпитале, когда готовили аппаратуру для переливания крови...

Зверь мог держаться в таком состоянии сутками и потому, даже смертельно раненный, не терял способности к сопротивлению, уходил на многие километры и, случалось, выживал. И человек, столкнувшись с подобным явлением, объяснял это большой физической силой, крепостью на рану, низким уровнем развития нервно-психической деятельности, дикостью или той же самой «нечистой силой»...

Сейчас Ражный бежал по незримому волчьему ходу восьмой час и чувствовал, как начинает слабеть это поле и яркий след, насыщенный энергией мести, превращается в пунктирную извилистую линию, будто разносимую ветром. Он понимал, что не успеет, если двигаться звериным путем, часто петляющим между болот или открытых мест, к тому же быстро светало, а на восходе солнца нетопырь слепнет и забивается на дневку в укромное, темное место. Можно было забраться под осадистую ель и переждать восход, точнее, проспаться его, что бы дало силы, но он боялся упустить время: волк проявлял крайнюю степень мужества и отваги, мстил открыто, делал набеги в светлое время суток, уподобляясь смертнику. Теперь Ражный не сомневался, что матерый выбрал жертвой конеферму в Красном Береге – там, где его

не ждут, – и рискнул оторваться от следа, что позволяло бежать напрямую, а по возможности упредить зверя.

Но прежде поискал место, покрутился, как это делают собаки и волки, прежде чем лечь, и опустился на землю, прижавшись позвоночником от копчика до шеи.

Выход из «полета нетопыря», сопряженного с волчьей прытью, был болезненным – тошнило, кружилась голова, учащенно билось сердце, и пережить все это на ходу было трудно, да и опасно.

Отец умер от инфаркта именно в такой миг, когда переходил в «нормальное» состояние. Ражный тогда еще служил, приехал на похороны по телеграмме и опоздал на сутки, так что не сидел у постели умирающего, не получил наказов и распоряжений и в последний путь не проводил. Расстроенный и удрученный, он отправился на кладбище и по дороге встретил старуху, тогдашнюю соседку, которая и рассказала, как умирал отец. В больницу он ехать отказался, велел положить дома на голую лавку, разговаривал до самого последнего момента и даже письмо написал Вячеславу, будто знал, что тот не поспеет к похоронам, после чего закрыл веки, и в этот миг на глазах старухи лопнула точеная ножка старого стола, бывшего рядом с умирающим. Она испугалась, отпрянула, и в следующий момент у него над головой треснула и разошлась длинной широкой трещиной потолочная матица.

Дух его был еще крепок, бился, а сердце не выдержало. Чтобы писать свои картины, он часто взлетал нетопырем и парил над миром, взирая на него одними сердечными чувствами. И улетап так далеко, что потом, очнувшись, камнем падал вниз и, толком не приземлившись, хватал кисти.

Бумага была испачкана масляными красками, так что кое-где остались отпечатки отцовых пальцев, и письмо было совсем коротким: «Жалко, не свиделись перед моей другой дорогой. Береги Ярое сердце. Я свое утратил, а когда – не увидел. Взлетай нетопырем, да не забывай приземляться. Но лучше рыскай серым волком. Схорони ногами на север, с Валдая привези камень, на котором я всегда грелся на солнце. И поставь на мою могилу. Остальное тебе все сказал, сынок».

Он прикладывал свои пальцы к отпечаткам отцовских и начинал чувствовать его, как живого. Судя по цвету краски, он писал автопортрет, над которым уже трудился года полтора, и Ражный потом нашел на полотне свежие мазки: отец, пожалуй, в сотый раз переписывал свои глаза, соскребая ранее нанесенную краску. И сейчас не получалось, и умер он, скорее всего, от отчаяния, прямо у холста, натянутого на круглый подрамник.

Все картины у него были круглыми или овальными...

Вероятно, письмо прочитали и отца схоронили, как завещал, потому Ражный поехал на Валдай, где прошла вся его юность, но сам не смог отыскать тот камень. Все Урочище обошел, возле дома, где жили, землю ковырять пробовал – нет! Но закрывал глаза и сразу же видел отца живым: вот он спускается с высоченного крытого крыльца, большой и сильный – ступени под ногами прогибаются и скрипят, идет не спеша по тропинке, трогая руками деревья, и садится на камень.

Сначала Ражный проходил этот путь мысленно, затем на смелился, взошел на чужое теперь крыльцо и только стал сходить, как за спиной суровый окрик:

– Эй, отрок! Что тебе нужно здесь?

Он обернулся, хотел ответить, но увидел, что вышедший из дома человек одет в отцовский кафтан и шапку – наряд, который с юности помнил, хотя видел в нем родителя очень редко. Потом, когда переехали в свою вотчину – Ражное Урочище, – все это куда-то пропало, да и вообще забылось со временем. И в отцовском сундуке их не оказалось, когда Вячеслав разбирал и рассматривал наследственные вещи...

– Скажи-ка лучше, дядя, ты что так вырядился? – усмехнулся Ражный вместо ответа. – Кино снимают, что ли?

– А тебе-то что за дело?

– Да есть дело... Одежка на тебе – отца моего! Ты где это взял?

– Отца твоего? – недоверчиво хмыкнул дядя. – А кто твой отец?

– Сергей Ерофеевич Ражный.

Человек спустился пониже, встал вровень с ним, в лицо посмотрел. От кафтана и шапки остро несло нафталином – только что из сундука добыл...

– Теперь вижу... Ну, здравствуй, Сергиев воин, – оглядел дядя его камуфляж, орденские колодки на груди. – Здравствуй, аракс.

– Здорово, коль не шутишь, – буркнул Ражный, вдруг ощутив смешанное чувство ревности, ностальгии и разочарования – в общем-то, беспричинного...

– Как тебя отец отвечать учил? – застрожился нынешний хозяин дома. – Или забыл все?

– Смотря кому отвечать... Откуда батин кафтан?

– На ристалище добыл! С Сергея Ерофеича снял. И шапку вот эту.

– Так ты ему руку изуродовал?

Новый хозяин Валдайского Урочища посмурнел, посмотрел не виновато – с сожалением.

– Случается и такое, брат... И все равно, здравствуй, воин Полка Засадного.

– Богом хранимые... Рощеньями прирастаемые... Здравствуй, боярин.

– Поди, камень ищешь? – спросил тот. – Ну, пошли, покажу тебе камень.

Оказалось, он лежит много ближе от дома и совсем на другой, заросшей тропинке... И заметить его было не просто – врос в землю, замшел, да и вокруг все изменилось...

Еще по дороге, когда вез этот камень на подряженном грузовике, ощутил его тяжесть собственным хребтом, будто на себе тащил. Шофер часто менял лопнувшие колеса и тихо матюгался, дескать, он что, свинцовый? Вроде бы и размерами невелик, а рессоры в обратную сторону гнутся.

Все стало ясно, когда в каком-то месте проезжали под низкими проводами ЛЭП: не от линии – с поверхности серого, мшистого камня собралась в пучок, а затем стрельнула вверх безмолвная электрическая искра, осветив дорогу и землю вокруг, как освещают ее осенние хлебозоры.

Приземлившись, он ощутил, как устал за эту ночь, и все-таки двинулся к Красному Берегу легким, ритмичным бегом, строго выдерживая направление, даже если приходилось перебредать через многочисленные ленточные болота. Когда-то хозяйственный Трапезников не пожалел сил и обнес всю свою землю косым жердяным пряслем, и сейчас труд его не пропал даром: кони паслись за изгородью.

Но она не спасла от хищника. Ражный опоздал на две-три минуты – из порванных лошадиных вен хлестала кровь, и один из четырех зарезанных жеребят еще сучил в агонии молочно-белыми копытами. Молодняк пасся отдельно от взрослых коней, и волк взял их поодиночке, отбивая каждого от табуна и укладывая так, что они образовали круг. Уйти удалось лишь одному, перескочившему прясло, и теперь белый, в красных пятнах двухлеток, вернувшись к изгороди, скакал вдоль нее и пронзительно кричал, выдавая свое присутствие.

Матерый его слышал и вряд ли бы не искусился соблазном...

Ражный снял тряпку с карабина, загнал патрон в патронник и залег у самого забора. Пегий жеребенок-приманка не чуял ни человека, ни зверя и рвался в загон к своим погибшим собратьям. А волк затаился возле старого остожья, в полусотне метров и, что-то подозревая, вынюхивал и зондировал пространство. Ражный не видел его – уловил лишь короткое, как отблеск, движение, и адреналин сделал свое дело: матерый засек охотника и теперь искал подтверждение изучаемой им опасности. В тот же миг Ражный закрыл глаза, сосредото-

чил внутреннее зрение на картине агонирующего жеребенка и перестал дышать. Через минуту зверь успокоился, вышел из-за своего укрытия, однако лег и пополз к жеребенку.

Стерня от скошенной травы почти не мешала, хорошо виделся широкий волчий лоб с прижатыми ушами, но за забором плясал и колготил обезумевший двухлеток, и стрелять сквозь его ноги следовало, как сквозь винт самолета, к тому же карабин без приклада – оружие не совсем удобное для такой цели, а сменить позицию уже поздно.

Он выбрал момент, когда жеребенок чуть привстал на задних копытах, и надавил спуск.

Зверь тоже ждал этого и чуть привстал, чтобы сделать прыжок на спину жертве, поэтому пуля пошла чуть ниже – не в лоб, а в грудь. Волка опрокинуло навзничь, пороховым зарядом опалило ноги жеребчику, и он в испуге, с места, перемахнул прясло, которое долго не мог одолеть. И чуть не наступил на Ражного; землей из-под копыт ударило в затылок...

Смерть матерого была почти мгновенной. Он успел лишь оскалиться, и этот оскал длился несколько секунд, после чего верхняя губа расправилась, и на звериной морде отпечатался покой, ибо Ражный в два прыжка оказался рядом, на ходу выхватил нож, коротким ударом проколол горло и подставил под струю солдатскую фляжку.

Волчья сила вытекла вместе с кровью...

5

Когда он торопливыми пальцами зажег вторую спичку и поднял над головой, Молчуна уже не было над Милей, хотя его урчащий голос еще звучал под потолком «шайбы».

А сама Миля медленно приподнималась, отталкиваясь слабыми руками от дощатого поддона, и потом, обернувшись на свет, прикрыла глаза ладонью. Из-за ярко горящей спички она не могла видеть, кто стоит за спиной, да и вряд ли узнала Ражного в таком неверном свете, однако судорожно потянулась к нему, промолвила радостно:

– Это ты! Я знала, ты придешь!.. Мне так зябко. О, как мне холодно!

Он отпрянул, чтобы не достала рукой, поскольку знал, что ее притягивает, потушил спичку и, выйдя на улицу, плотно притворил дверь.

– Что?.. Что?! – Макс потянулся к нему руками. – Не хочешь? Не хочешь оживить ее?..

Ражный хотел оттолкнуть его, но непроизвольно получился удар – младший кубарем укатился в темноту и где-то там затих. Из-за «шайбы» вышел волк, уставился на жоака, приложив уши.

– Зачем ты это сделал? Кто тебя просил зализывать ей душевные раны? Кто? Зачем ты вмешиваешься в человеческую жизнь?

Молчун заворчал угрожающе, присел на передние лапы, словно хотел прыгнуть на Ражного. Тот со всей силы ударил его пинком – волк отскочил, болезненно поджал живот.

– Я не задавил тебя щенком, – прорычал Ражный. – Задавлю сейчас...

В этот момент Макс очнулся, выполз из травы с разбитым лицом, сказал, всхлипывая:

– Убей меня, дядя Слава, – ее оживи...

– Послушай меня, пацан... – Ражный опустился на землю, заговорил тихо и сдержанно: – Я могу ее отогреть, могу. Но нельзя мне этого делать. Я воин, понимаешь? И если вложу огонь своей души в ее душу, ничего хорошего не получится. Она станет... яростной, одержимой, станет другим человеком! Она – женщина, и ей нельзя жить с Ярым сердцем. Ты ее разлюбишь! Ты возненавидишь ее!

– Нет, никогда!.. Я клянусь!

– Это всего лишь юношеские порывы.

– Ну что мне сделать, чтоб ты поверил?!

Волк выполз из темноты и лег рядом с Максом. Смотрели в четыре горящих глаза...

– Хорошо, – наконец согласился Ражный. – Я согрею ее сердце... Но если ты когда-нибудь пожалеешь об этом... Убью вас обоих!

Он вошел в «шайбу», запер дверь изнутри и зажег спичку. Девушка лежала в прежнем положении, запрокинув голову, тело ее подергивалось в такт биению холодной крови. Ражный поднял Милю на руки, как ребенка, сложил в комочек и стал дышать на нее, сначала медленно, с глубокими вдохами, каждый раз вытягивая тепло из своего позвоночника, затем быстрее и жарче, так что сохнувшие волосы начали взлетать от потока воздуха и искриться. Это продолжалось несколько минут, и когда бесчувственное, безвольное тело начало слегка светиться и терять свою мертвую тяжесть, он сделал еще один вдох, из сердца, зажал Миле нос и, приложившись ко рту, бережно, словно драгоценную жидкость, влил воздух. Грудь ее поднялась, взбугрилась, и, когда Ражный отнял губы, она задышала сама.

Тогда он положил ее на поддоны и отполз к стене, хватая ртом воздух, как загнанный конь. Ледяной пот стекал по лицу и спине, рубаха прилипла, точнее, примерзла, и чтобы согреться, он зажег спичку, удерживая ее в ладонях.

Миля еще не шевелилась, но дышала глубже и ровнее, как во сне, а контуры тела ее охватывались золотистой, летучей пеленой.

– Подойди ко мне... – через некоторое время прошелестел слабый голос. – Кажется, ты горячий и светишься.

– Это горит спичка, – проговорил он сухо.

– Нет, я чувствую! В твоей руке холодный огонь... Тепло льется от тебя, а я зябну...

– Тебе нужно двигаться – и согреешься. Пошевели руками.

Она медленно подняла дрожащие руки и тут же уронила их, потом нащупала пододеяльник, инстинктивно, как всякий мерзнувший, натянула на себя, завернулась, знобко съжилась. Спичка погасла...

– Все равно холодно... Почему я здесь? – спросила в темноте. – И что со мной было?

Всем воскресающим нельзя было говорить о смерти, дабы вновь не высвободить душу из остывшей плоти, и потому Ражный проговорил успокоительно:

– Случился обморок, по дороге...

– Вот как?... Странно. Зачем же меня... завернули в простынь? И положили сюда? Здесь так холодно... Это что, холодильник?

– Нет, просто комната, неотапливаемая комната. – Он все еще не мог приблизиться к ней, поскольку сам был холоднее, а солнечная энергия костей источалась медленно и была не более, чем огонек спички.

Вообще-то следовало бы немедленно вынести Милю отсюда, чтобы не заподозрила свою смерть.

– Здесь не живут... Здесь совсем не пахнет жилым! Напротив, чую дух мертвечины...

– Побудь еще немного, – хотел утешить Ражный. – Придет доктор, и мы пойдем, где тепло, где топится печь. Только лежи и не вставай. И все время двигай руками и ногами.

– Не обманывай меня, – перебила она уверенно. – Я вижу... Зачем тут крючья? И какие-то мешки...

– Это кладовая!

Мрак в «шайбе» был полнейший, хоть фотопленку заряжай, и она не успела бы все увидеть, пока горела спичка.

Кажется, у нее открылось особое зрение...

– Меня положили в склад... потому что мертвая? А иначе... почему не в постель?.. – Она зашелестела тканью – оказалось, встала на ноги. – Вспомнила!.. Я умерла. Это случилось перед закатом солнца... Максы несли на носилках, я смотрела в небо... Потом перед глазами кто-то зажег свет, очень яркий свет... И я ослепла.

– Ты просто лишилась памяти, потеряла сознание. – Он прижался спиной к стене и осторожно двинулся к выходу. – Сюда положили, чтобы скорее пришла в себя... Не вставай, у тебя еще не окрепли ноги...

– А что здесь делал волк?

– Какой волк, о чем ты?

– Надо мной стоял молодой волк и... вылизывал вот здесь. – Она указала на солнечное сплетение. – А потом завыл...

Ражный оттянул запор и приоткрыл дверь: почудилось, с улицы влетел знойный, летний вихрь...

– Тебе приснилось...

– Нет, помню... Это не сон.

За спиной Ражного вспыхнул свет, и на пороге «шайбы» очутился младший Трапезников с фонариком. Полосатый луч, будто шлагбаум, опустился сверху вниз и уперся в Милю, стоящую в пододеяльнике, как привидение. Она заслонила рукой, и на несколько секунд повисла тишина.

– Живая! – страшным шепотом проговорил Макс и заорал: – Она живая! Живая! Я знал, ты поднимешь!.. Ты сможешь!..

А сам попятился назад и через мгновение выскочил на улицу. Миля стояла, шатаясь, искала руками опоры. Надо было бы подать ей руку, однако Ражный знал, что делать это сейчас опасно: мертвящий холод жжет сильнее огня, и только от прикосновения к ней можно выжечь всю энергию, с такими трудами добытую.

Влюбленный, но дикий по природе младший Трапезников интуитивно почувствовал это и бежал от страха.

Миля неуверенно шагнула вперед, попыталась дотянуться до крюков, на которые вешали туши битых зверей, но промахнулась, потеряла едва появившееся равновесие и плашмя упала на бетон. Боли она не ощутила – не ойкнула, не застонала, поскольку тело еще оставалось бесчувственным, лишь протянула руку к Ражному:

– Помоги мне встать...

Макс орал на улице как ошпаренный, бессвязно, на одной ноте; ему в унисон орали гончаки в вольере и Люта на цепи.

Ражный тяжело вздохнул и все-таки подхватил Милю на руки, хотел уложить на поддон, однако ощутил слабое сопротивление ледяного тела.

– Согрей меня... Вынеси на улицу. Хочу к огню... Я мерзну!

– погоди немного, – сквозь стиснутые, сведенные ледяной судорогой зубы процедил он. – Еще рано под звезды, душа вылетит. Ты снова умрешь...

Она поняла, сразу же смирилась, намертво обхватила шею, хотя говорила слабо и казалась немощной:

– Тогда поддержи на руках... От тебя идет тепло.

Состояние Правила было близко; еще бы неделю тренировок на станке, и Ражный смог бы взлетать над землей без помощи веревок и противовесов. И сейчас, накануне решающего, второго поединка, да еще не в своей вотчине, где проходил первый, а на чужбине, вот так, бездарно отдавать почти достигнутую подъемную силу, высокую, космическую энергию было преступно и бессмысленно.

Тем более перевоплощать ее в тепло, дабы согреть мертвое тело.

Но и у костра, у самого живого огня Милю было не согреть, не разбудить жизнь в остывшем теле, куда волк загнал почти освободившуюся душу. И она, эта душа, чувствуя живительную силу, тянулась к ней, заставляла стучать ледяное сердце, двигаться омертвевшие мышцы. Она будила, давала ток еще теплеющей крови в жилах...

– Я согреваюсь... Я согреваюсь, – бормотала воскресающая.

Энергия Правила уносилась в трубу, как радужная пыльца, созревшая и теперь сорванная с цветов сильным ветром. Однако он чувствовал, как горячее ее сердце и потеплевшая кровь медленно оживляет плоть.

И это чувство неожиданным образом замещало утрату силы, казалось восхитительным, так что он держал сжавшееся в эмбрион тельце на руках и, пользуясь темнотой, улыбался.

Он действительно однажды отогрел замерзшего скворца и подарил девочке с редким именем – Фелиция...

Тем часом на улице в собачий лай вмешались голоса людей; чудилось, к «шайбе» бежит огромная, взбешенная толпа. Миля услышала, встрепенулась по-птичьи:

– Что это?... Я слышу голос! Знакомый голос!

– Это твой возлюбленный Макс...

– Нет! Это... врач! – Она прижалась еще плотнее, и отогретые руки похолодели. – Не отдавай меня! Не хочу!..

Доктор ворвался первым, захлопнул за собой дверь, поискал запор – за ним кто-то гнался. Он еще был пьян, однако то, что увидел в «шайбе», мгновенно его протрезвило.

– Положите труп на место! – Луч света запрыгал по Ражному и Миле. – Я должен осмотреть!

– Она жива, – сказал Ражный и, отобрав фонарь, осветил Милю на своих руках. – Смотри. Она спрятала лицо за его голову, зашептала:

– Я вижу, он некрофил. Он любит мертвецов...

В этот момент влетели оба Макса, запыхавшиеся, перепуганные и агрессивные. Словно забыв о Миле, о случившемся чуде, они с ходу набросились на доктора, сшибли его с ног, вернее, уронили, поскольку от переполнявших чувств напрочь забыли, как следует драться. (А ведь учил!) Один из братьев – в темноте не понять, кто – навалился сверху и не бил, а мял врача, тогда как другой, согнувшись, ловил момент, чтобы схватить его за голову. Глянув на эту бестолковщину, Ражный оставил включенный фонарь на поддоне, осторожно отворил дверь и вышел на улицу.

– Куда ты несешь меня? – спросила Миля.

– На реку, – прошептал он.

Вопросов она больше не задавала, сидела на руках, как пойманная птица, поблескивая в темноте белками огромных глаз или вовсе их закрывая. И лишь когда он забрел в воду и обмакнул ее с головой, затрепетала, цепляясь за одежду, хватая ртом воздух.

– Зачем?.. Я боюсь! Зачем?!

– Хочу смыть смертный пот, – погружая ее вновь, объяснил он.

Потом он уложил ее на отмель, нарвал пучок застаревшей осоки и тщательно вымыл с головы до ног. Теперь Миля зябла иначе, как живой человек – покрывалась гусиной кожей, дрожала и стучала зубами. После купания Ражный снял с себя куртку, завернул в нее девушку и понес домой.

– Вот теперь я ожила, – проговорила она сонным голосом. – Слышу, как стучит сердце... И есть хочу.

Дома он растер Милю полотенцем и подал свой недавно постиранный камуфляж и свитер.

– Одевайся... Другого ничего в этом доме нет.

Женская одежда была, и хранилась она в сундуке кормилицы Елизаветы – второй жены отца, однако имела ритуальное назначение и не годилась для обыденной носки...

Пока Миля обряжалась в охотничий костюм, Ражный достал бочонок с хмельным медом, отлил немного в бронзовый кубок, разбавил водой и подогрел над керосиновой лампой. Миля не знала, что в этом кубке, и не попробовала на вкус – выпила залпом.

– Стало совсем хорошо... Я пойду. Уже светает...

– Может, останешься? – безнадежно спросил. – На один день, чтобы окрепнуть...

– Нет-нет! – воскликнула она. – Я отогрелась и окрепла! Чувствую себя великолепно. Правда!

– Я провожу за ворота. – Он сдернул с вешалки дождевик, набросил на ее плечи и стал рыться в обувном ящике.

– Босой мне лучше, – предупредила она.

– Как хочешь...

Ражный вывел Милю за калитку, подождал, когда ее спина перестанет мелькать среди деревьев, собрал с земли пригоршню мокрых желтых листьев и растер, умыл ими лицо. Он чувствовал себя опустошенным, и единственным желанием было прежде всего залечь на трое суток и выспаться. Однако времени до поединка оставалось так мало, что позволить себе такую роскошь – значит проиграть схватку, самую главную, вторую, ибо победа в ней определила бы всю его судьбу.

Но и вздыматься на тренажере в таком состоянии было смерти подобно...

Он пошел на могилу отца и сел на камень. Зубы стучали.

– Прости, батя... Я сердце остудил, мерзну. Дай согреться.

Энергия, когда-то накопленная отцом и заложенная в камень, была живая, живительная, и не существовало ни позволения, ни запрета ею пользоваться. Каждый наследующий ее сам решал этот вопрос, однако чем больше вытягивали ее живые, тем быстрее камень уходил в землю и придавливал родительский прах...

Отцовская кладовая казалась неисчерпаемой, и надгробие стояло на земле так же, как было поставлено в год его смерти. Ражный обнял камень, постоял пару минут и с трудом оторвался: намагниченные волосы стояли дыбом, покалывало кончики пальцев на руках и ногах, во рту стало кисло, и накопилась слюна.

– Спасибо, отец...

Вернувшись с могилы, он обнаружил какое-то неясное движение и шум на территории базы. Гончаки в вольере теперь лаяли беспрестанно и уже осатанели от злости, а Люта по-прежнему молчала и даже не брякала цепью. Спустя минуту Ражный увидел, как из «шайбы» один за другим появились братья Трапезниковы и, озираясь, сначала бросились к воротам, но передумали, повернули к реке, где на берегу паслись их кони. Через калитку не пошли – подбежали к сетчатому забору, намереваясь перемахнуть, однако Ражный окликнул их.

Братья по-воровски замерли, застигнутые внезапным голосом, после чего на негнущихся, деревянных ногах двинулись к нему.

– В чем дело? – спросил он. – Где этот доктор?

Максы словно по команде оглянулись на «шайбу» и повесили головы.

– Убили, – сказал старший. – Задавили...

– А не убивать было нельзя?

– Нельзя... Он не человек! Мы не человека убили.

– Легко вы судите, судьи!.. Образ был человеческий. А вы убили и бежать?.. Даже не спросили, что с вашей возлюбленной?

Младшего словно током пробило, он открыл рот, однако старший пихнул его в спину.

– Значит, все-таки человека, дядя Слава?

– Как же вы думали?.. Подобия Божьего в нем нет, но образ еще остался... Ныне бо́льшая часть человечества – образы.

– Эх! – простонал старший. – Жаль, мало пожили. А так было жить интересно!.. Теперь все.

– Что – все? – рыкнул Ражный.

– Так ведь как? Одно дело от призыва в армию скрываться, другое – нанесение смерти, – с болю проговорил младший. – Если мы теперь убийцы?

– Это верно, – вдруг подтвердил Ражный. – Убийцы не достойны чувства любви...

– Дядя Слава, нам что теперь делать? – в голос спросили Максы.

– Вы бежать собирались? Бегите. Вы и так дезертиры...

– Это со страху, – признался старший. – Ведь знаем, нехорошо бежать...

– За что вы хоть убивали-то?

Младший поднял голову, спросил с надеждой и оглядкой на брата:

– Миля у тебя, дядя Слава? Она спит?

– Она ушла, – бросил Ражный. – Так за что, знаете?

– Как ушла? Куда? – вразнобой закричали они. – Зачем ты отпустил?

– Я предупреждал: она встанет яростным и одержимым человеком.

– Но она погибнет! Она же погибнет одна! – В их голосах вновь послышалась агрессия.

– Она теперь не нуждается в вашей помощи, – холодно отозвался он. – И в моей тоже...

Пометавшись на месте, младший Макс рванул к берегу, сдернул с забора промокшее седло, а старший угрожающе надвигался.

– В какую сторону ушла? Говори, дядя Слава! Куда?..

Ражный молча прошел мимо него, толкнув на ходу плечом, направился к «шайбе». Макс отпрянул, вдруг погрозил кулаком:

– Ну, если с ней что-нибудь случится!..

И побежал следом за младшим.

Доктор уже выполз на улицу и сидел рядом с молчаливой и робкой Лютой, привалившись к стене. На бордовом разбитом лице запеклась черная кровь, горло было синее, перечеркнутое рубцом от веревки. Он кашлял и зло сплевывал, сверкая глазами.

– Повесить хотели, сволочи! – погрозил куском веревки с петлей на конце. – На крюк вздернули!..

– Это за что они тебя так?

– Не знаю! Они же дикие! Они просто звери!

– Вот так, ни за что ни про что напали и вздернули на крюк?

– У них спросите! – огрызнулся он. – Вам они скажут!.. Дезертиры проклятые! Вы знали, что они скрываются от военкомата?

– Ходить можешь? – спокойно поинтересовался Ражный.

– Могу, а что?!

– Уходи.

– Куда?! Никуда я не уйду! Пока не разберусь с твоим... с вашим этим гнездом убийц и вешателей! – Он встал на ноги. – Где эти дикари? Я вас спрашиваю?!

– Тебе лучше уйти, – посоветовал хозяин. – Не искушай судьбу. Видишь, повезло, веревка оторвалась.

– Не оторвалась! Я сам снялся!

– Разве это возможно? – засомневался Ражный, рассматривая удушенника.

Тот глянул подозрительно и ответил не сразу.

– Дыхательная гимнастика... Почему вы так смотрите? Вы с ними заодно, да? А может, это вы приказали вздернуть меня?

Он заметно прихрамывал на левую ногу, и сквозь изодранные, пыльные брюки выше колена проглядывал толстый слой бинта, которого вечером еще не было. Доктор перехватил его взгляд и прикрыл рукой прореху.

– Что там у тебя? А ну, покажи!

– Какое ваше дело? – без прежнего вызова пробурчал он. – Ладно, я уйду. Только вещи возьму в гостинице...

– Если я спрашиваю – нужно отвечать.

Доктор сверкнул глазами.

– Меня укусила собака!

– Какая? – Ражный показал на Люту. – Вот эта?

– Нет, какая-то бродячая... У вас тут не база, а черт-те что!

– Это волк. Тебя укусил волк.

– Волк?! Мне показалось, собака...

– В темноте можно перепутать... – Внезапным движением Ражный выдернул веревку из руки доктора, поиграл ею, как кнутом, пуская в воздухе кольца. – А скажи-ка мне, врачеватель, по какой нужде ты поперся на улицу среди ночи? Если с красной икры пронесло, то туалет в номере...

– Просто вышел подышать свежим воздухом, – настороженно проговорил он. – Стою, а тут вылетает... Думал, собака...

– Мне нужно говорить правду, – предупредил Ражный. – Я не люблю лжи.

– Слушайте, вы! По какому праву устраиваете допрос?! Меня чуть не повесили ваши... ваши эти ковбои! А вы еще!..

Очередное веревочное кольцо на мгновение повисло над головой доктора и опустилось на шею. Ражный поймал свободный конец и слегка натянул.

- Не надо врать, парень. Что ты делал возле «шайбы»?
- Возле какой шайбы? – засипел тот, вращая глазами и цепляясь за веревку.
- Дыхательная гимнастика на сей раз не спасет.
- Отпустите!.. Скажу, я скажу...

Ражный отпустил один конец петли, и веревка будто бы сама собой взлетела и снова зависла над головой.

- Ну, я слушаю...
- Хотел взглянуть на нее... На эту девушку. Она была так прекрасна...
- Ты любишь мертвецов?

Доктор скосил глаза на веревку.

– Это болезнь, я знаю... И ничего не могу поделать. Из-за нее пошел учиться в медицинский. – Он багровел и задыхался, будто его душили. – Студентом работал ночным сторожем в морге... От нее не избавиться... У меня никогда не было девственницы... Я хотел вылечиться! Хотел! Несколько раз спал с живыми женщинами, даже пытался жениться, но ничего не получилось...

Веревка выписала круг над головой и, вытянувшись в струну, легла на землю.

- Добро, избавлю тебя от этой болезни.

Доктор закрыл горло руками, попятился к стене.

- Только не убивайте! Не надо!..
- Не бойся, жить будешь. Повернись ко мне спиной!
- Спиной?! Зачем?!
- Спокойно. Не дергайся. – Ражный поставил его лицом к стене «шайбы». – Это совсем не больно.

И легонько ударил в поясничную часть позвоночника. Доктор втянул голову в плечи, ожидая действия более сильного или страшного, однако Ражный ухватил его за мочку уха и развернул к себе.

- Все, курс лечения закончен.
- То есть как – все?..
- Больше не будешь любить ни мертвых, ни живых. Женщин для тебя не существует. – Он направился к своему дому. – Забирай вещи и уходи. Сейчас же.

– Хорошо, я уйду, – чему-то обрадовался доктор. – Но мне не верится... Это что, на уровне психотренинга? Внушения?..

- Я сказал – уходи! Или одной встречи с волком тебе мало?

Он послушно затрусил к гостинице, то и дело оглядываясь и прибавляя шаг, пока не сорвался в спринтерский бег. Однако едва Ражный зашел в дом, как доктор поскребся в двери.

– Наверное, ты не понял? Или что-то забыл? – Он уже плохо сдерживал эмоции, и это было признаком крайней ослабленности.

– Забыл! Я забыл спросить! – громким, дрожащим шепотом заговорил доктор. – Самое главное!.. Как это вам удалось?! Если я сам... зафиксировал смерть? Она скончалась на моих глазах! Я наблюдал остановку сердца, дыхания... Этого не может быть!

- Иди отсюда, – закрыв глаза, попросил Ражный.
- Нет, послушайте! Она не Лазарь, а вы не Христос!..
- Молчун! – крикнул он, наливаясь нетерпимостью. – Проводи гостя...

Из травы встал волк. Выглядел он не лучше своего жоака, однако сделал угрожающий скачок вперед и немо ощерил клыки. Ражный захлопнул дверь и, не дойдя до постели, пова-

лился на пол. Перед своим первым поединком, который произошел чуть более года назад, он находился точно в таком же состоянии, и это уже было неким роковым повторением...

А спустя дней десять после этих событий на охотничью базу пришел инок – глубокий старик с аккуратной стриженной бородкой и в очках, чем-то напоминающий Калинина времен войны, однако взгляд молодой и озорной не по возрасту. За спиной был рюкзачок с пожитками, в руках корзина и палка – этакий городской грибник. Служивая, строгая овчарка Люта, не одному гостю штаны спустившая, затрепетала перед незнакомцем, как бывало перед волком, и только руки не лизала.

И если бы не условленное приветствие, никогда бы не признать в нем воина Полка Засадного. Инок назвался Радимом и поднес Ражному в дар красную рубаху из крепчайшего трехслойного холста с кожаным аламом – оторочкой выреза.

Дар этот был своеобразным видом на жительство, выданным духовным предводителем Сергиева воинства. Иными словами, Ослаб прислал стареющего Радима доживать свой век в вотчине Ражного на полном его попечении. Это считалось почетной обязанностью – заботиться о немощных иноках, тем более Ражное Урочище долгое время стояло в запустении и тут давно никто из старцев не жил. У некоторых вотчинников их собиралось до десятка, и они никогда не были в тягость, ибо не просто сидели на шее хозяина Урочища, не доскребали остатки своих лет – обогащали, насыщали его своим опытом, мудростью и воинским духом. Ражный иноку обрадовался, посчитал его появление доброй приметой – оживало Урочище! – и поселил его в келье своего дома, лет пятнадцать пустовавшей.

Радим был из вольных араков, никогда не жил в вотчинах и ко всему проявлял искреннее любопытство. Он долго бродил по дому, разглядывая убранство, на повети знающей толк рукой ощупал противовесы, точно установив количество песка в мешках, а значит и уровень достигнутого состояния Правила, затем с пристальным интересом разглядывал отцовские полотна, и чего бы ни касался рукой, все его восхищало и радовало.

– Добро, – приговаривал он. – Добро...

А когда пошел осматривать владения и увидел Молчуна, безбоязненно приблизился к нему, присел и, посмотрев в волчьи глаза, покорило окончательно.

– Ведь это же не зверь, вотчинник! Разве что образ животный... Не встречал я подобных хищников. Но толк в них знаю.

Он не объяснил, откуда и какой именно знает толк в волках, и, словно доктор, поочередно оттянул веки, внимательно изучил глаза – и Молчун позволил сделать это с собой! – после чего хлопнул по холке:

– Ну, гуляй, брат...

Вечером, за праздничным столом в честь нового насельника Урочища, инок выпил кубок хмельного меда – им позволялись и более крепкие напитки – и как бы подвел итог своих впечатлений:

– Добро у тебя все тут, Сергиев воин, добро. Одна беда – хозяйки нет.

– Не успел завести, – признался Ражный. – Год как на Свадебном Пире пировал...

– А пора бы! Эх, знаешь, как лепо, когда рядом жена молодая! Все «боярин мой, боярин мой» зовет и в глаза глядит... Обручен хоть, нет?

– Есть у меня суженая...

– И что же ты холостякуешь, воин?

– Условие там стоит – не перешагнуть...

– Ну уж!

– Перед попечителем суженой на колени встать надобно и руки просить.

– А встать не можешь?

– Не хочу. И никто не поставит.

– Ладно ты сказал, добро, – похвалил инок. – Не пристало засаднику на коленях стоять... Взял бы мирскую девицу. Ужель не найти? В наше время брали, молодили кровь...

Ражный в тот же миг вспомнил воскрешенную Милю, печально улыбнулся и ушел от прямого ответа.

– И с мирскими не просто, инок... Да и как Ослаб посмотрит на такой брак?

– Перед Ослабом можно и слово замолвить, – сказал Радим так, словно предлагал свои услуги. – Коль за этим стало – поправимое дело.

Смутная, почти нереальная надежда затрепетала крыльями в сердце: а почему бы нет? Почему не послать этого инока с челобитной к старцу? Ведь от него пришел, от него красную рубаху принес, значит, имеет доступ и попросить может о милости...

А тот заметил этот тайный трепет, взбодрил еще больше:

– Показал бы мирскую девственницу? Что прятать-то... Порадует глаз и душу – сам пойду к Ослабу, без твоего ведома.

Стареющим аракам, как и всяким старикам, нравилось устраивать жизнь молодых, обручать с невестами, сватать, а то и самим привозить девиц на выданье из старообрядческих родов. И Ражный тотчас ни на минуту не усомнился в искренности нового насельника.

– Показал бы, – признался он. – Да нет ее здесь. Может, больше и не придет...

– Где же она?

– В лесу живет, от людей ушла.

– Добро, поищу, – согласился инок. – Пойду завтра в лес. Урочище твое погляжу, заодно и девицу посмотрю. Я ведь в вашей вотчине когда-то Свадебный Пир пировал...

И словно гусяр, до глубокой ночи завел сказ-воспоминание о своей молодости.

Наутро же он взял корзинку, палку и отправился в лес.

До поединка оставались считанные дни, и ему бы с правилами не спускаться, как советовал калик, но Ражный целый день слышал в сердце это короткое, легкое трепетание крыльев – так бьет ими оперившийся птенец, когда просит корма у матери. Он таил надежду, что новый насельник вернется из лесу с Милей, приведет и вручит. И скажет что-нибудь подобное:

– Вот тебе, боярин, боярыня! А я пошел к старцу духовному за благим словом. Он мне не откажет.

Дело в том, что некоторые араксы, не дожидаясь совершеннолетия, заводили в миру семьи, рожали по несколько детей и таким образом лишали себя возможности соединиться с обрученной невестой и продлить воинский род. Они потом локти кусали, посылали иноков к Ослабу или кидались в ноги сами, но тот, говорят, чаще всего скалой стоял, соблюдая неписанные законы Сергиева воинства, и шел навстречу в исключительных случаях, когда, например, аракс брал мирскую жену порочной или вовсе с детьми и имел от нее потомство – позволял жениться на суженой, дабы не прервать род; или, напротив, если своевольник женился по большой любви и на девственнице, а детей воспитывал в духе воинства – благословлял такой брак.

Радим вернулся в сумерках с полной корзиной поздних опят, выглядел утомленным, выпил меду, сказал свое «добро» и пошел в келью. Задавать вопросы инокам было не принято, да и так становилось ясно, что надежды не оправдались. Ражный собрал, скрутил себя в тугую свиток и, наверстывая упущенное, поднялся на правиле.

Новый насельник Урочища не зря завел разговор о женитьбе. Совершеннолетнему араксу жена нужна была не только для продолжения рода, не для развлечения, утешения плоти или оплакивания, коль мужа принесут неживого с ристалища или поля брани. И тем более не для хозяйства и домашнего очага. В браке крылась иная, почти забытая в мирской жизни суть, имеющая символическое значение – соединения двух начал, совокупления мужской и женской природы. Ни одно из них, будучи отдельными, не могло развиваться и двигаться дальше, и слово «холостой» в этом плане очень точно сохранило первоначальный смысл – пустой.

И можно было действительно не сходить с правила, но так и не выправить плоть, ибо в определенный момент будет недостаточно энергии, получаемой извне, из пространства и от солнца, чтобы взлететь над землей без помощи противовесов. А эту малую, но важную толику ее могла дать араксу лишь женщина.

Лишь в соединении двух Пиров – Свадебного, когда он праздновал земное, воинское начало, и Пира Радости, на котором он посредством природной женской стихии обретал вертикальные, космические связи, наступало истинное совершеннолетие.

И это было не блажью старца Ослаба, не пережитком тупых, диких и древних воззрений, доставшихся Сергиеву воинству, – блюсти чистоту родов и скрупулезно подбирать невест молодым аракам; всякая случайность и неразборчивость чаще всего приводила к обратному результату. Вместо совокупления двух начал происходило обоюдное разрушение, а то и вовсе уничтожение друг друга.

Вероятно, Радим не хотел мешать вотчиннику и вошел на поветь, когда Ражный спустился на землю и лежал, раскинувшись звездой, чтобы сбросить остатки энергии состояния Правила, – заземлялся. В руке инока была трепещущая свеча, которую он установил на пол, и сел рядом, обозначая тем самым, что будет долгий разговор.

– Добро, – проронил он удовлетворенно. – Пахнет озоном... Заходят ли к тебе калики переходные?

– Бывают, – сдержанно сказал Ражный, не ожидая такого вопроса. – Недавно приходил один...

– Должно быть знаешь, Сбор ожидается...

– Нет, о Сборе ничего не сказал. – Он сел, так и не заземлившись окончательно. – От тебя впервые слышу!

Сбор Засадного Полка, или, как еще его называли, Пир Святой, считался событием великим и довольно редким, и происходил он в тот час, когда над Отечеством нависала смертельная угроза. По бывшим окраинам России давно курились сторожевыми дымами войны, однако не такие, чтобы поднимать Сергиево воинство.

– Посмотрел я твою вотчину – все добро устроено, будет куда собраться вольным аракам... Одна беда – людно у тебя тут, оглашенные по лесам бродят, и слышал я, в прошлом году обложили тебя крепко.

– Снял я осаду. – Ражный вспомнил «Горгону», однако понять, чего хочет инок, вначале так и не мог. – И воздал всем сполна...

– Видел, видел я воронку, – покряхтел Радим. – Люди говорят, метеорит упал, небесное тело. Воздал, нечего сказать... Зачем же местных привадили? На конях скачут по дубраве...

– Так ведь мир вокруг нас – не пустое пространство.

Только сейчас Ражный даже не ухом – сердцем услышал, что не простой это инок, пришедший доживать в его вотчину, а скорее всего опричник, перст Ослаба. Так называли особо доверенных араков и иноков духовного предводителя – людей, тайно существующих внутри Засадного Полка. Они выполняли поручения, относящиеся не только к безопасности Сергиева воинства, но и связывали старца с миром.

И явился он не насельником – инспектировать Урочище перед Сбором...

Их никогда никто не видел, ибо приходили они под самыми разными личинами, и отец много говорить не любил, тем паче о тайной внутренней жизни воинства, поэтому Ражный выстраивал лишь предположение. Так же точно никто толком не знал, сколько доверенных араков и иноков держит под своей рукой духовный водитель. Из преданий было известно – числом не менее сорока: кормилица Елизавета говорила-де, мол, едет Ослаб, а опричь него сороковина черноризных витязей, или называла его «сорокопалым», ибо каждый опричник был ему словно палец на деснице. Видимо, потому их часто называли просто перстами.

– Тебе не чудотворством бы заниматься, – вдруг проворчал Радим, встал и, оставив свечу на полу, подался к выходу. – О вотчине порадеть накануне Пира Святого... Да о сердце своем. Нечего тебе на правиле править, разве что плоть мучить... Пришел в твое Урочище, как в обитель, а тут по мирскому уставу живут. Пойду иное место искать...

Пока Ражный убирал веревки правила, инока след простыл: ушел, невзирая на ночь, и только овчарка Люта тоскливо выла ему вослед...

В начале октября сорок первого года наружная охрана загородной резиденции Сталина заметила подозрительного человека, пробирающегося вдоль дачной ограды крадущейся, осторожной походкой. Прежде чем взять, за ним последили около получаса, пока он не дошел до КПП и здесь, видя, что возле шлагбаума никого нет, ступил на охраняемую территорию.

Задержанным оказался глубокий старик, к тому же с заболеванием опорно-двигательной системы, отчего и казалось, что крадется. При нем практически ничего не обнаружили, кроме иконы, завернутой в холстину. Немоощный этот человек свое появление возле резиденции объяснил тем, что хочет передать эту икону Верховному главнокомандующему. В начале войны ходоков и делегатов к Сталину было достаточно, кто и с чем только не шел, поэтому совершенно безобидный старец даже у самых бдительных офицеров охраны не вызвал подозрений. Его продержали в караульном помещении до вечера, после чего достаточно мягко пожурили и отправили восвояси, вернув икону.

На следующий день утром он явился опять и заявил, что будет ходить до тех пор, пока не вручит икону или не будет точно уверен, что ее передали Верховному. На сей раз старца задержали по причине отсутствия документов, доску «с красочным изображением неустановленного лица», как было сказано в протоколе, изъяли вместе с холстиной и тщательно исследовали. Ни отравляющих веществ, ни заложенного в икону взрывного устройства не обнаружили и через несколько дней больного старика вытолкнули на улицу, но уже без предмета культа, поскольку эксперты НКВД исщепали его на лучину, изучая внутренности.

Спустя пару суток этот дряхлый и неумный старик вновь притащился к КПП, и уже с другой, точно такой же иконой. Офицеры выдворили религиозного фанатика за пределы прилегающей к забору охраняемой территории и на какое-то время в суматохе суровых осенних дней сорок первого о нем забыли. А он дождался, когда из ворот резиденции выедет кортеж с Верховным, и, неизвестно каким образом пробравшись через оцепление, обязательное при выезде, внезапно оказался на обочине стоящим в полный рост с поднятой в руках иконой. Шедшая впереди машина личной охраны обязана была таранить его и освободить путь, но отчего-то не сделала этого, и солдаты оцепления, заметив старика на дороге, не стреляли, хотя могли бы.

Верховный приказал остановиться, приподнял шторку на окне автомобиля, долго смотрел на старца, после чего велел адъютанту взять икону и принести ему. Слуга выскочил, выхватил образ у старца из рук и вернулся.

– Ступай, князь! – услышал вождь голос с улицы. – Сергиево воинство с тобой!

Через несколько секунд машина понеслась вперед, старца в мгновение ока схватили, но этот зачумленный мракобесием человек не то что не сопротивлялся – был счастлив и искренне чему-то радовался.

А Верховный всю дорогу не выпускал икону из рук, сам внес ее в Кремль и поставил в углу комнаты отдыха, накрыв холстиной. Имеющий духовное образование, в юности писавший стихи, он отчетливо понимал, что образ Сергия Радонежского в буквальном смысле явился ему, что это Промысел Божий, однако изверившийся, погруженный в пучину материалистических представлений и, более того, в реальность невиданной войны и смертельной угрозы – враг уже готовился применять артиллерию для обстрела Москвы, он не в силах был растолковать этого знака, а обратиться за помощью было не к кому, да и опасно: несмотря

на прежнюю его силу, в первые месяцы войны ближнее окружение молча и тщательно отслеживало его шаги, не пропускало ни одной, даже самой незначительной детали в поведении. Они боялись Верховного, помня его кнут, гуляющий по склоненным спинам, однако теперь этот страх был сравним с шакальим выжидательным страхом, когда мелкие и хищные эти твари незримо и неотступно преследовали утомленного, раненого льва.

Создавая обновленную, вычищенную от масонских влияний и бундовского, иудейского воззрения на мир партию, он не заметил, как личными, национальными качествами внес в нее не русский, а восточный характер и в результате окружил себя магнетизмом вероломства. Он почувствовал это лишь в начале войны, в пору крупнейших поражений; почувствовал и, потрясенный, обратился к народу, как подобает не партийному вождю, а священнику:

– Братья и сестры!

В тот же день, как ему попала в руки икона, после совещания Ставки, Верховный удалился в комнату отдыха, поставил образ преподобного Сергия перед собой и долго блуждал в своем собственном сознании, как в искривленном пространстве. Он так и не растолковал знака, но еще более уверился, что это Явление, и с тех пор, как всякий материалист, стал выискивать в сообщениях и сводках его доказательства.

И буквально через сутки, когда ему зачитывали сводку с фронтов обороны Москвы, слух зацепился за факт, на минуту заставивший его оцепенеть. Нераскуренная трубка потухла...

На Западном фронте, пересекая линию обороны Можайск – Дорохово, потерпели катастрофу и упали на нашей территории четыре вражеских ночных тяжелых бомбардировщика, летевшие бомбить столицу.

Накануне он своей властью, повинувшись некоему сиюминутному порыву, отстранил маршала Буденного от командования Резервным фронтом, объединил его в один Западный и назначил командующим генерала армии Жукова...

– Вы сказали – катастрофу? – запоздало (адъютант читал уже о потерях наших войск за сутки) спросил Верховный.

Опытный, знающий нрав хозяина слуга сориентировался мгновенно:

– Так точно, товарищ Сталин, катастрофу. Ввиду метеоусловий фронтовая истребительная авиация не взлетала, противовоздушная оборона в этом районе малоэффективна из-за большой высоты полета...

– А кто установил, что была катастрофа?

– Это соображения начальника штаба триста двенадцатой стрелковой дивизии майора Хитрова. Им подписано донесение.

– Пришлите мне этого начальника штаба, – выслушав доклад, попросил Верховный. – Сегодня к пятнадцати часам и с материалами по обстоятельствам катастрофы фашистских стервятников.

Даже искушенный адъютант не ожидал такого оборота.

– Триста двенадцатая дивизия под Можайском, непрерывные бои... Чтобы отыскать майора, потребуются сутки, не меньше. Быстрее будет, если к месту падения самолетов выслать специальную команду НКВД...

– Хорошо, – согласился Верховный. – Я жду товарища Хитрова к шестнадцати часам.

Адъютант все понял и удалился.

Пока он рвал построики, исполняя практически невыполнимое задание, Верховный между делом задавал один и тот же вопрос всем, кто в тот день оказывался перед хозяйскими очами:

– А скажите мне, товарищ (имярек), отчего терпят катастрофу и падают вражеские самолеты?

Замнаркома обороны Мехлис, вероятно, уже читал сводку и знал об упавших бомбардировщиках, поэтому ответил с присущей ему осторожностью, одновременно буравя красноглазым взглядом хозяина и стараясь угадать по его реакции, в цвет ли он говорит.

– Предстоит выяснить... погодные условия, мощный грозовой фронт в верхних слоях атмосферы... а возможно, столкновение в условиях плохой видимости... я уже распорядился проверить информацию и доложить...

Верховный умел делать лицо непроницаемым и оставил Мехлиса в заблуждении относительно своего мнения.

Ворошилов сказал с безапелляционной убедительностью героя Гражданской войны и яркого представителя пролетариата:

– По моему мнению, товарищ Сталин, налицо пробуждение сознания рабочего класса Германии. Восемнадцатый год не прошел даром для немцев, и сейчас трудовые люди увидели звериный оскал фашизма. Я не исключаю, что в недрах Рейха сохранилось и действует подполье, имеющее прямое отношение к бомбардировочной авиации. По всем признакам это диверсия.

– Хочешь сказать, вредительство, товарищ Ворошилов?

Маршал слегка смутился, ибо это слово в отрицательном понятии относилось лишь к внутренним врагам и совсем нелепо было называть так немецких патриотов, рискующих своими жизнями.

– Вредительство в нашу пользу, – нашелся он после некоторой заминки.

Побывавший у Верховного в тот день конструктор авиационных двигателей Исаев как специалист заявил, что подобная катастрофа – результат эффекта резонанса, возникшего в определенной аэродинамической среде, сходный с явлением, когда от движения строевым шагом может обрушиться мост.

– А нельзя ли, товарищ Исаев, сделать прибор или машину, которая бы... искусственно создавала такой резонанс? – спросил хозяин.

Идея вождя показалась тому гениальной, и он пообещал непременно поработать в этом направлении.

И лишь один старый начальник Генштаба Шапошников, последний царский генерал в Красной Армии, спрошенный, как и все, мимоходом, так же мимоходом ответил:

– Да ведь и им должно быть наказание Божье. Не все нам...

Начальник штаба триста двенадцатой дивизии явился в кремлевский кабинет вождя с опозданием в четверть часа. Наверняка исполнительные слуги переодевали его, когда везли с аэродрома в автомобиле, где майор не мог выпрямиться, чтобы проверить длину новенькой офицерской формы, а когда вывели на улицу – было поздно: брюки оказались настолько длинными, что бутылки галифе висели у сапожных голенищ, а китель на майоре более напоминал демисезонное пальто.

Однако при этом майор не был смешон или напуган. Он отрапортовал, как положено, после чего сдернул с головы маловатую фуражку и встал по стойке «вольно».

– Товарищ Хитров... Вы по-прежнему утверждаете, что самолеты немецко-фашистских агрессоров потерпели катастрофу над линией фронта?

– Так точно, товарищ Сталин. – Показалось, даже плечами подернул. – Есть фотографии обломков, свидетельства очевидцев – местных жителей и солдат саперной роты.

На сей раз Верховный не таил внутренних чувств, и все было написано на его лице.

– Я первый раз с начала войны слышу, чтобы самолеты противника падали по причине катастрофы, а не от огня наших зенитных батарей или храбрых и умелых действий летчиков-истребителей, – внушительно выговорил вождь, медленно надвигаясь на майора. – Подумайте, товарищ Хитров. Каждый сбитый самолет... и особенно ночной бомбардировщик, на подходах к столице нашей Родины – победа для нас и поражение для врага.

– Товарищ Сталин, я сам был очевидцем, – без всякой паузы, обязательной в диалоге с хозяином, начал майор. – Находился неподалеку от села Семеновское, увидел в небе четыре вспышки – одну за другой, и через несколько секунд грохот разрывов. Была низкая облачность, но вспышки были настолько яркие...

– Это могли быть разрывы зенитных снарядов, – перебил Верховный.

– В районе Семеновского всего одно зенитное орудие. И оно не вело огня...

– Вы это точно знаете?

– Я проверял, товарищ Сталин. А потом, в боях с первых дней и на зенитную иллюминацию насмотрелся.

Верховный не стал набивать трубку, закурил папиросу и протянул коробку майору:

– Закуривайте, товарищ Хитров. И садитесь.

Тот взял папиросу, сел на ближайший к нему стул и прикурил от своей спички. Вождь отошел к окну и встал к нему спиной, глядя на серую, октябрьскую Москву. Когда папироса дотлела, он медленно вернулся к столу и, бросая окурочек в пепельницу, отметил, что там уже лежит один, погашенный майором.

Обычно те редкие гости, кто получал от хозяина папиросу, стремились незаметно спрятать ее в карман или фуражку, чтобы потом показать своим близким или друзьям...

– А также, товарищ Хитров, – продолжая начатый и прерванный монолог, заговорил Верховный, – я первый раз с начала войны слышу правду. Недавно фашистский стервятник зацепился за трубу завода «Серп и Молот» и разбился – зенитчики приписали себе в заслугу. Потом ночной бомбардировщик наткнулся на высоковольтную опору и упал в реку – мои соколы включили в свою сводку, противовоздушная оборона в свою... Я слушаю их и молчу, товарищ Хитров. Молчу и подписываю указы о награждении отличившихся... Я слушаю, какие потери понес противник, складываю их в уме и тоже молчу, хотя, по моим подсчетам, мы уже истребили немецко-фашистское полчище. Если ложь на благо боевого духа Красной Армии, я буду молчать, товарищ Хитров. Я допускаю святую ложь, но для меня лично сейчас нужна правда. И больше скажу – истина. Мне товарищ Шапошников сегодня сказал – будет и фашистам наказание Божье. Как вы считаете, товарищ Хитров, есть ли... основания предполагать, что катастрофы случаются... по причинам, от человека не зависящим? Как это написано в религиозной литературе? Не небесным ли огнем сбиты были эти ночные стервятники?

– Я кадровый военный, товарищ Сталин... – Теперь майору самому потребовалась пауза. – Человек не религиозный... Но могу утверждать как очевидец. Только не небесным огнем пожгло эти самолеты, а земным.

Верховный приблизился к нему, знаком показал, чтобы майор не вставал, после чего придвинул к нему стул и сел.

– Что значит – земным?

– С земли полетели четыре красных точки, из ближнего леса на холме, – с прежней непосредственностью объяснил Хитров. – Я находился неподалеку и отлично видел. И не только я – фельдшер эвакуопункта Морозова... Красные шарики поднялись над лесом, покружились и пропали за тучами. А через несколько секунд мы увидели вспышки, и потом на землю посыпались горящие обломки... Я проверил, товарищ Сталин. На этом холме всего два отделения саперов, и больше никого.

– Что там делают саперы?

– Одни роют капониры, другие месят бетон лопатами. Они тоже видели...

Верховный взял со стола трубку и принялся ломать папиросы. Майор тем временем достал кисет с табаком и газету, сложенную во много раз, так чтобы отрывать листочки для самокруток.

Офицеры перешли на солдатскую махорку, и это было совсем плохо, хуже, чем самая неприятная сводка с фронта...

– У меня к вам просьба, товарищ Хитров, – спустя несколько минут сказал Верховный. – Подберите в своей дивизии несколько таких же наблюдательных и... правдивых офицеров. Займитесь самым тщательным анализом и изучением всех подобных катастроф. Я распоряжусь, чтобы вам предоставляли секретные сводки и донесения. И обеспечили авиатранспортом для вылета на места происшествий.

Майор затушил самокрутку величиной в полпальца и встал.

– Я готов, товарищ Сталин... Разрешите идти?

– Результаты докладывать мне лично. Только мне и только лично, товарищ Хитров.

После этой продолжительной беседы Верховный ушел в комнату отдыха, открыл икону Преподобного и долго смотрел на седобородого старца. Не было позывов молиться, к тому же в последний раз он делал это, когда бежал из Туруханской ссылки и чуть не погиб в волнах Енисея. Однако и без молитвенных слов почувствовал утешение и непривычное для последних месяцев спокойствие. Уезжая на дачу, он завернул образ в холстинку и взял с собой и на том участке дороги, где встретил человека с иконой, велел остановиться, вышел из машины и прошелся по обочине. К ночи пошел снег, было темно, студено и сыро. И пусто, если не считать затаившихся в лесу солдат оцепления. Он предполагал, что слуги на всякий случай схватили старца, и через адъютанта поинтересовался его судьбой.

Наутро тот доложил, что задержанный без документов человек в настоящее время находится в ведении НКВД, содержится в отдельной камере, на все вопросы пока отвечать отказывается, и следователи полагают, что он принадлежит к религиозным фанатикам.

Майор Хитров оказался не только наблюдательным, правдивым офицером, но еще и расторопным, поскольку через несколько дней Берия как бы ненароком спросил:

– Коба, зачем тебе инквизиция? Каких еретиков ищет майор из триста двенадцатой дивизии, если в твоих руках мой аппарат со СМЕРШем в придачу? Зачем он ищет приписки потерь противника?.. Ах, Коба, у тебя и так скоро голова треснет!

Хозяин был спокоен и непроницаем.

– У ваших людей, товарищ Берия, находится один человек. Очень старый и больной человек. Задержала моя охрана...

– Есть такой, – чуя настроение, с готовностью подтвердил тот.

– Знаю, что есть... Так пусть у него ничего не спрашивают. И пусть пока посидит.

Тон хозяина был для него красноречив и понятен, как слабый, но все-таки львиный рык.

Первый доклад «инквизитора», как мысленно, с легкой руки Берии, называл Верховный группу Хитрова, состоялся через восемь дней и если не потряс, то привел вождя в молчаливый внутренний шок. Начиная с девятого октября – со дня, как ему явилась икона преподобного Сергия Радонежского, по всему Западному фронту было установлено семнадцать авиакатастроф, произошедших с самолетами противника, и пять еще оставались под вопросом, требовали дополнительного изучения. Кроме того, по крайней мере десять случаев внезапной гибели бомбардировщиков прямым или косвенным путем подтверждали данные разведки и радиоперехват. Для сравнения майор исследовал материалы и сводки по Ленинградскому фронту и обнаружил лишь единственную катастрофу «Юнкерса», который уходил от зенитного огня с рискованными для такого типа машин элементами высшего пилотажа, потерял управление, врубился в Синявские болота, развалился на три части и даже не загорелся.

До девятого октября, как ни старался Хитров, ни единого подобного случая не нашел... Майор несколько помялся и добавил:

– Есть масса устных свидетельств... когда бойцы и командиры встречали в подмосковных лесах вблизи линии фронта, а чаще на нейтралке, каких-то людей со странным поведением.

– В чем это выражается, товарищ Хитров?

– Два дня назад ночью артиллерийская разведка тридцать третьей армии искала цели, ходила в тыл противника в районе города Боровска, – заговорил он, оставаясь удивительно спо-

койным и невозмутимым, словно рассказывал о безделице. – На нейтральной полосе, в густом старом ельнике заметили большой костер, подумали, что немцы – их передовая в двухстах метрах, за дорожным полотном... Подползли, а у огня сидят старики. Двенадцать человек...

– Старики? – непроизвольно вырвалось у Верховного, чего он раньше себе не позволял.

– Ну да, разведчики говорят, не совсем старые, но уже не призывного возраста, лет по пятьдесят – шестьдесят. Одеты тепло, в овчинные ямщицкие тулупы с большими воротниками, хотя и не мороз еще, но все без шапок, головы с проседью... И безоружные: у одного-двух только топоры за поясами... Сидят тесно, плечом к плечу вокруг огня и держат друг друга за руки. И молчат, в огонь смотрят. Разведчики к ним вплотную подобрались, за спинами стоят, а они сидят и не шелохнутся, как статуи. Заглянули через их плечи, а огонь горит на голой земле – ни дров, ни углей... Ладно бы одному кому почудилось, а то пять человек видели и с ними офицер – лейтенант. И говорят, почему-то страшно стало, отошли в сторону, потом вообще решили уйти. Подползли к дороге, за которой у немцев передовая, стали вести наблюдение за передвижениями, и тут началось...

– Что... началось, товарищ Хитров? – поторопил Верховный, чего тоже раньше не делал.

– Оказалось, за дорогой в лесу стояли замаскированные танки противника, двадцать четыре единицы, – как ни в чем не бывало продолжал майор. – В них начал рваться боезапас. Оторванные башни летели до дороги, так что разведчикам пришлось отойти в лес. Немцы засуетились, забегали – наша артиллерия молчит, а танки рвутся... Несколько машин успели выгнать из леса на дорогу, но и их разнесло вдребезги... Разведчики под шумок еще и «языка» прихватили, раненого танкиста, и побежали назад. И на том же самом месте снова встречаются этих стариков в тулупах. Только уже огонь настоящий, и сидят они вольно, греются... Подошли – они расступились, место дали, один говорит, грейтесь, а остальные молчат. Наши разведчики тоже молчат, стоят, греются, и тут один из стариков заметил, что «язык» ранен, спрашивает, мол, тяжело, поди, тащить на себе... Подошел к немцу, легонько стукнул по ране и достал осколок... Осколочное ранение было... Теперь, говорит, и сам дойдет. Когда немца привели в расположение дивизиона, у него рана уже почти зарубцевалась...

Не подавая виду, но внутренне ошеломленный, Верховный приказал немедленно отправляться на фронт в расположение тридцать третьей армии, взять этих разведчиков и попытаться пройти с ними тем же путем, если позволит сегодняшняя боевая обстановка, снять на пленку взорвавшиеся танки, а лейтенанта, бывшего в разведке и видевшего этих странных стариков в лесу, включить в свою группу.

6

Дедовскую вотчину, наследную рощу Ражное Урочище, выпилили почти подчистую перед войной, когда по округе начали открываться лесоучастки. Она не значилась ни на одной карте, была известна лишь редким местным жителям, кто любил лесные глубины и часто в них забирался, а официально на земле, где стояла мощная трехсотлетняя дубрава, числился старый заболоченный осинник. Когда же приехали таксаторы леса и пошли нарезать деляны для вальщиков, рощу обнаружили, внесли поправки на картах и выпластали чуть ли не в первую очередь для районного промкомбината, столярный цех которого выпускал тяжеленные, грубоватые стулья и столы для заседаний в стиле советского модерна. Тогда еще живший на свете дед Ражного, Ерофей, в миру известный правдивец, пришел к местному начальству и уговаривать не рубить лес в Урочище не стал, ибо бесполезно тратить слова не любил, но предупредил, мол, смотрите, товарищи, не будет добра советской власти от дубовой древесины и мебели, а беды она принесет немало.

За авторитет среди населения, за кулацкий характер, а более всего из-за жены его – красивой, царственной и обворожительной Екатерины – деда пытались несколько раз отправить в лагеря. Пока очередной следователь таскал и допрашивал самого – все обходилось, и он всякий раз с блеском выворачивался из-под любого обвинения и оставался неуязвимым, но когда вызывали его жену, тут все и начиналось. Деда арестовывали, а следователь начинал откровенно ухаживать за Екатериной. Так повторялось пять раз и совершенно с одинаковым исходом: Ерофея выпускали, иногда по причинам странным и непривычным – то следователь вдруг запыет, оправдает деда, а сам потом или застрелится, или будто бы случайно вывалится из кошевы и замерзнет на дороге зимой, или утонет в реке. А то, бывало, сверху придет указ отпустить без объяснения каких-либо причин.

Так что любовью начальства он обласкан не был, но и трогать его материалисты до мозга костей опасались из-за славы, которая вилась за Ражными с давних времен – колдовства. Если было засушливое лето, во все времена к ним приходили, чаще всего украдкой, и просили дождя.

– Добро, идите, – выслушав, отвечал старший в этом роду. – Да поторопитесь, у вас все окна и двери нараспашку, а сейчас гроза будет.

И верно, не успевали просители добежать до своей деревни, а в небе уже висит черная туча, ветер завивает дорожную пыль, куры бегут прятаться, муравьи суетятся. Еще мгновение, и ливень как из ведра – откуда что и взялось! Точно так же просили снега, если земля оставалась голой до декабря и вымерзали посевы, бывало, просили мороза, чтобы сковало реку, по которой гоняли ямщину – основной вид дохода в прошлые времена; просили тепла, урожая, здоровья, детей и получали, однако все равно в миру за спиной шептали:

– Колдуны! Истинные колдуны!..

На то он и есть мир...

И вот когда Ерофей пришел и предупредил по поводу мебели, люди в галифе и скрипучих сапогах завели на него очередное дело и начали подводить под статью. А поскольку это еще никому не удавалось, то материал собирали тайно, по крупице и скоро выяснилось, что дед говорил правду. Колдовским ли образом или еще каким вражеским, но будто в воду смотрел! Только за один год стульями из дубовой древесины, изготовленной в промкомбинате, было убито по всей стране девять человек и около двадцати получили увечья. За столами же по самым разным причинам погибло около полутора десятков начальников самых разных рангов. Это не считая того, что еще столько же сошли с ума, причем все душевно заболевшие чиновники отличались невероятной буйностью, крайней и внезапной агрессией, и, случалось, сами убивали посетителей стульями.

Никто бы о таких фактах никогда не узнал, поскольку подобной статистики не вели, если бы не попался дотошный следователь, решивший развенчать авторитетного Ерофея Ражного и показать народу, чего стоит его колдовская сила и мракобесие. Но развенчался сам и сначала пришел к нему уже почти безумный, упрямивая открыть секреты колдовства или переждать их для борьбы с врагами советской власти, затем принародно пытался убить деда, стрелял почти в упор, да промахнулся и ранил двух ни в чем не повинных людей.

Когда же милиционеры скручивали его, он только молился Богу и слал анафему чародею.

Деда еще потаскали немного и отпустили, теперь уже насовсем: никто больше не хотел заниматься его делом, а жены Екатерины боялись как огня. В сорок первом году, когда сына Сергея призвали на фронт, исчез куда-то и сам Ерофей. На войну взять не могли – за восемьдесят лет было, в трудармию тоже, и тогда неведомо откуда и как побежал слушок, будто Ражный-старший подался в какой-то монастырь, замаливать прежние грехи. Вернулся он в сорок третьем совершенно другим человеком – будто прежний огонь из него вылетел. Ходил с палочкой, тихий, слабый, опустошенный и, если шли к нему с просьбами, всем отказывал.

– Не могу я, – говорил. – Силы нет. Потерпите, вот отдохну лет двадцать, может, и помогу.

Поэтому Ражное Урочище восстанавливал отец в пятидесятых годах, когда вернулся с войны и пошел работать в лесничество. После порубки на месте рощи остался редкий, убогий самосев, да и то объединенный лосями, кустообразный и убогий, ибо освобожденное от дубов место тотчас же затянул осинник и за пятнадцать лет вымахал высоко и густо, как стена. Отцу пришлось начинать все сначала: постепенно вырубать горькую осину и взращивать новый лес. Неподалеку от Урочища он сделал скрытый от посторонних глаз дубовый питомник, где проращивал желуди, откуда-то лично им привезенные, после чего нес на себе и рассаживал трехлетние саженцы с ему одному понятной закономерностью, огораживая их остро заточенными кольями от лосей.

Он спешил, потому что в год, когда посадил последнее дерево, у Сергея Ражного родился сын Вячеслав.

Восстанавливал питомник по своей воле и тайно от своего лесного начальства, в свободное время, и никто так и не узнал, какими чарами и колдовством снова возникла роща.

За сорок лет дубы в Урочище выросли толщиной в обхват одной руки, но ухоженные, поднялись стройными и высокими, с правильными и хорошо развитыми кронами и уже давно обсыпали землю дождем желудей. Размерами роща была не велика – чуть больше трех гектаров, и имела правильную, округлую форму. Ражный приходил в свою вотчину редко и в основном по делу: в летнюю пору в дубраву лезли кабаны и подрывали деревья, так что приходилось сметать желуди с ристалища, где земля была слишком мягкая и слабозадернованная, а в зимнюю бескормицу устраивать отвлекающие кормушки и вывозить туда мерзлую картошку.

По смерти отца Ражный стал хозяином Урочища, и охотничья база, клуб, аренда угодий, суета и маета с иностранными охотниками, своими отдыхающими, егерями и просто несчастными типа Героя Соцтруда – все было ради этой рощи. Надо было как-то оправдывать перед миром свое присутствие в глухих, малолюдных местах...

Он пришел сюда в тот же день, как выследил и отстрелил матерого волка, за бессонные сутки проделав путь в шестьдесят километров: сразу же с охоты в Красном Береге побежал на место встречи с поединщиком – поджигало условленное время – и как хозяин назначил время поединка и указал наконец-то месторасположение Урочища. После этого вернулся назад, снял шкуру с волка и двинул в рощу напрямую, по лесам и болотам, мимо дорог и брошенных деревень. Состояние «полета нетопыря», наследственный прием, так необходимый в поединке и составляющий родовую тайну, выхолостил его, и он рассчитывал хотя бы частично восстановить силу и энергию в наследной дубраве, иначе не одолеть противника.

Начало поединка он назначил через сутки, то есть послезавтра на восходе солнца. Хватило бы времени и на отдых, и на то, чтобы подготовить ристалище – срубить траву, выме-

сти метлой поляну в центре рощи и взрыхлить ее верхний слой, как контрольно-следовую полосу на границе. Однако первое, что он заметил, перешагнув «порог» Урочища, – знак на Поклонном дубе, оставленный вольным поединщиком, – железный кованый гвоздь, вбитый по шляпку. Колеватый не скрывал теперь своего происхождения и рода, впрочем, здесь, в роще, уже было бесполезно и бессмысленно что-либо таить от соперника, тем паче возле Поклонного дуба. Гвоздь этот был документом, более красноречивым, чем любая грамота: противником Ражного оказался аракс из рода кузнецов, в схватках отличающихся огненной яростью, сильнейшим кулачным ударом и клещевым мертвым захватом.

Стало ясно, что Колеватый времени зря не терял и в городской гостинице не жил, да и на лабазе не сидел возле порезанных волком коров; он рыскал по лесам и искал рощу, дабы освоить ристалище, ощутить энергию пространства и сориентироваться в его магнитных свойствах. Правилами это не запрещалось; другое дело, не все засадники решались на поиски места схватки, ибо чаще всего это грозило физической усталостью и напрасной потерей времени, особенно если рощи были сосновыми – там, где по климатическому поясу не росли дубы. Потому хозяин, принимающий соперника, старался не слишком-то оттягивать срок схватки и не давать ему возможности до поединка освоиться в дубраве.

Колеватый рискнул – очень хотел победы! – и нашел Урочище. И вбил свой знак в Поклонный дуб.

А заодно засадил гвоздь в сознание...

Ражный коснулся рукой этой визитной карточки и ощутил тепло, исходящее от шляпки гвоздя, словно его недавно вынули из горна. Предки Колеватого не единожды вступали в поединки в этой роще, правда, еще старой: когда начали распиливать дубовые бревна в промкомбинате, угробили не одно полотно на пилораме. В кряжах, на разной глубине, давно вросшие и почти слившиеся с древесиной, попались несколько таких гвоздей. А также лезвий старинных засапожных ножей, стальных скребков, копейных навершеней, сошников, литых и кованых медных блях – короче, множество металлических предметов, веками скопленных дубравой и никак не объяснимых с точки зрения промкомбинатовских и прочих начальников.

И не один пилорамщик пошел по статье за вредительство...

Он прекрасно понимал, что хотел сказать своим знаком Колеватый, и старался не сосредоточивать на этом внимания, но заноза прочно сидела в уставшем сознании. Следовало бы отыскать место, лечь и прежде всего выспаться, благо что начало смеркаться, но вместо этого Ражный отправился к ристалищу и по дороге на свежеразрытой кабанями земле увидел отпечаток подошвы кроссовки: гость бродил здесь всюду, осваивая пространство. А опытному поединщику, бывавшему на земляных коврах в таких вот рощах, совсем не трудно разобраться и в характере наследного владельца дубравы, хотя одна не походила на другую и каждая построена по родовой индивидуальности.

Двигаясь так от дерева к дереву и придиричиво осматривая землю, словно увлеченный грибник, он внезапно наткнулся на четкие отпечатки конских копыт – две некованых лошади пронеслись легким галопом, разрезав Урочище чуть ли не надвое. Следы были совсем свежие и насторожили Ражного: раскатывать здесь на конях могли только сыновья Трапезникова. Причем проскакали в одну сторону, обратного следа нет, и кто их знает, когда поедут назад и каким путем? И вообще, почему их понесло в этот край?..

Этих парней бы в гвардию, в кремлевскую охрану или роту почетного караула, а братьев даже в стройбат не взяли. Они же рвались в армию всеми правдами и неправдами, каждый раз при встрече молчаливыми вопросительными взглядами напоминая Ражному об обещании раздобыть пару настоящих школьных свидетельств о неполном среднем образовании. Ни сами бы они, ни отец их сроду бы не попросили о такой услуге; Ражный вызвался помочь по своей охоте, когда увидел этих молодцев, вскормленных на воле и в трудах праведных, да еще и убедил, молде, в такой нечестности нет ничего зазорного и дурного, ибо добывание

свидетельств не им принесет благо, но Родине. К тому же братья умели читать, писать и считать, так что совсем безграмотными их назвать нельзя. Да еще черт дернул за язык, рассказал о пограничной службе, о своей особой бригаде спецназа, куда подбирали людей с волчьим чутьем и способностями ходить по следу нарушителей – у этих природных охотников и следопытов огонь загорелся в глазах. А когда больше для собственной забавы начал учить их рукопашному бою и вольной борьбе, они увлеклись армейской службой и приезжали на базу чуть ли не каждый день.

После того как Ражный взял матерого, все-таки выбрал время, съездил в райцентр и купил у директора вечерней школы два свидетельства о неполном среднем образовании. Думал хоть как-то утешить бедолаг хуторян, а может, и обрадовать, но братья на заветные документы даже не взглянули.

– Это нехорошо, дядя Слава. Мы же не учились, – сказал старший Макс. – А если спросят? Ну, что-нибудь по алгебре или физике? Вот будет стыда...

– Тогда сидите в своем Красном Береге! И никакой вам армии! – рассердился он.

Смущенные и растерянные, они позвали отца, и тот, со знанием дела осмотрев свидетельства, отдал назад.

– Не задаром же взял? Нынче за это деньги платят. У нас с тобой рассчитаться нечем, так что забирай.

Ражный плюнул на это дело, вернулся обратно в район и передал документы военкому, чтобы вложили в личные дела призывников. Военком побоялся сразу же призвать парней, мол, случись проверка – и раскроется, что свидетельства купленные, посоветовал обождать еще годик и поклялся на следующую осень непременно забрать Трапезниковых в армию. И когда призвал, те не явились на сборный пункт, и розыски их ничего не дали.

Великовозрастные неучи, выросшие в тайге, не знающие, что такое радио и телевизор, не имеющие представления о цивилизации, отличались потрясающим благородным воспитанием. Ражный считал, что таких людей давно уже на свете нет, а в будущем и быть не может, но когда в первый раз столкнулся с образом мыслей и поведения братьев Трапезниковых, долго не мог сообразить, как к ним относиться. Однажды после охоты с группой бельгийцев из загона прорвались сквозь номера и ушли неуязвимыми четыре лося, и лишь один бык оказался пораненным, но добывать его уже не оставалось времени. Скившие иностранцы готовились к отъезду без трофеев и с солидным штрафом. Наутро им заказали машину, а среди ночи к базе, запряженные в волокушу, вышли тогда еще семнадцатилетние сыновья Трапезникова. За шесть часов они умудрились прийти к месту загонной охоты – а это километров десять от Красного Берега, – вытропить подранка, добрать его, в темноте, но аккуратно, без единого пореза снять шкуру, выпотрошить лося и притащить на волокуше вместе с рогатой головой и копытами на базу за двенадцать километров. Не то что платы за такую услугу – они и чаю не попили, тотчас встали на лыжи и как ни в чем не бывало ушли к себе на хутор.

И им было все равно, кто охотился и кому предназначен трофей; они знали древнее как мир таежное правило – раненный кем бы то ни было зверь непременно должен быть дострелен и безвозмездно отдан охотнику.

Президент клуба давно бы разогнал всех егерей и взял вместо пяти двоих – братьев, однако они совершенно не годились для такой работы, ибо не умели прислуживать и прогибаться, а егерский труд по большей части в этом и заключался. Скоробогатые отечественные или состоятельные заморские клиенты отличались удивительной привередливостью, прежде всего требовали высокий сервис и, имея охотничий характер, по праву сильного любили подчинять себе, а подчинив, унижать.

Когда у старшего Трапезникова начался конезаводской период, его сыновья перестали ходить пешими и теперь не вылезали из седел, научившись скакать по густым лесам, буреломникам и заваленным вырубкам. Выносливые и мобильные, они теперь знали все, что

творится вокруг на добрых сорок верст, неведомым образом поспевая всюду и особенно там, где стреляют. После волчьего набега и гибели четырех товарных голов пегашей им бы вместе со своим родителем горе горевать, а они ничуть не изменили своего образа жизни. И продолжали жить, как будто ничего не случилось! Единственные, кто не грозил подать в суд и никому даже не пожаловался, были Трапезниковы, и только поэтому Ражный решил в первую очередь им возместить ущерб, но не деньгами – заказанными в Вологодскую область пегими матками. Яростные, непокорные хуторяне и от этого отказывались, просили только шкуру разбойного волка, для дела, не каждому понятного: чтобы, глядя на нее, наполняться еще большим упорством.

Знали, что просили...

Наследный владелец рощи был обязан обеспечить полную негласность поединка: ни одна живая душа не могла видеть, что происходит в дубраве, иначе результаты схватки признавались ложными, засадники на пятилетний срок лишались права борьбы и начинали все сначала. Хозяин Урочища был обязан сначала дезавуировать событие, гарантированно убедить самого подозрительного очевидца – оглашенного – например, в том, что он видел просто пьяную драку или разборки «крутых», после этого на его рощу накладывалось табу сроком в десять лет, а сам он лишался права состязаний и попадал под личный надзор старца Ослаба и его опричных людей. В особых случаях вотчинник мог предстать перед его судом, по приговору лишиться рощи и до смертного часа своего уйти из мира в калики перехожие – своеобразный монастырь, где нельзя было быть одним целым, где личность и воля делились в равных долях на количество душ, в нем проживающих.

Было где-то на свете Сирое Урочище, и там сейчас находились три десятка вольных поединщиков и один вотчинник – калик верижный, носящий на себе цепи денно и нощно. Опальные араксы не просто жили – существовали общинно, то есть никто из них не мог быть отдельной самостоятельной личностью: одно «я» как бы раскладывалось на количество насельников. И это было самым тяжким приговором суда Ослаба. Чем больше было наказанных засадников в общине, тем мельче становился каждый ее член и тем страшнее приговор. Прибыло их в Сиром Урочище за это время или убыло, но делить себя с этой братией по крайней мере на тридцать частей, да еще не испытав ни одной схватки, Ражный не собирался.

Он прошел конским следом через всю дубраву, спустился в лог к пересыхающему ручью и понял, что молодцы с Красного Берега не на прогулку выехали – кого-то искали, проверяя места, где можно укрыться. Судя по направлению, ехали они в сторону давно заброшенного смолзавода, причем на ночь глядя, и вряд ли станут возвращаться той же прямой, через леса; скорее, поскачут старой дорогой – более длинной, но безопасной в темноте.

И все-таки Ражный подстраховался, сделал затвор на пути конников, чтоб не возвращались своим следом, благо что свежая волчья шкура была с собой. Ставил он звериные меты по рубежам своей вотчины и жалел парней: понесут лошади густым лесом – глаза выстегнет седокам, или вовсе поломаются, выбитые из седел...

Несведущие братья Трапезниковы проскакали ристалищем по незнанию и недомыслию, а Колеватый наследил умышленно. Ходил чистыми от травы местами по самой поляне, и мягкий грунт легко продавливался под статридцатикилограммовой тушей. Это уже был явный вызов и даже пренебрежение к вотчиннику: ступать по ристалищу до начала схватки не позволялось правилами, за исключением случаев, когда Ослабом назначался Судный Пир. Ражный мог бы сейчас по одной этой причине засчитать себе победу, даже не начав поединка, а с Колеватым можно было и не встречаться, выдернуть из тела Поклонного дуба гвоздь и бросить на след поединщика, презревшего обычай.

И тот не сможет оспорить своего поражения, ибо за двойную ложь ему светит Сирое Урочище. Поднимет свой родовой знак и тихо, молча уйдет, словно и не бывало никогда. Уйдет и унесет с собой Поруку – весть, где, когда и с кем состоится следующий поединок.

Согласно исконному правилу, вотчинник этого никогда не знал и знать не мог, покуда не одолеет на ристалище своего противника – пришедшего вольного поединщика. А уложив на спину, подаст ему руку, чтобы помочь встать на ноги. И вот в момент, когда побежденный примет эту помощь, он должен отдать полную Поруку. Но если гость победит, то сам пойдет на новое ристалище, а вотчиннику будет пустая Порука – кто и когда к нему придет.

Первая лестница вела вверх, вторая – вниз...

Поэтому Ражный скрутил, сдавил себя и вытерпел. Негоже было без схватки, не испытав вкуса борьбы в первом поединке, силы своей не ведая, забирать победу. Стиснув зубы, он принес отцовский инструмент, хранящийся поблизости от роши, в дуплистой колодине, разгреб, растер и заровнял следы Колеватого, а вместе с ними и конские.

Он не участвовал в настоящих поединках, кроме потешных, учебных, однако несколько раз видел ристалища на Валдае и в Ражном Урочище сразу же после схватки: накрененные к земле молодые дубы, сбитые лохмотья коры и древесины на ближних к поляне деревьях, кругом свежие сучья, зеленая листва и взрытая на полуметровую глубину земля, будто стадо секачей кормилось или ураган промчался. Он не знал исхода борьбы, не видел, да и не мог видеть участников, однако хорошо представлял, что здесь происходило, ибо не только следы на земле – и в самой роше, в воздухе и пространстве еще кипела яростная, пузырящаяся энергия поединка. Если отец сам не участвовал в состязании, то как хозяин Урочища приходил сюда уже после схватки, чтобы в буквальном смысле замести следы, и брал с собой Вячеслава.

Но когда боролся здесь сам, все оставалось в тайне даже от сына.

До глубокой ночи Ражный рыхлил ристалище, выскребая, выбирая из него камешки, лесной сор, желуди и старые корневища. Готовил круглый, упругий борцовский ковер, площадью в тридцать шесть квадратных сажен. С момента, как он дотронулся до этой земли, пошел особый отсчет времени: теперь он всецело принадлежал поединку, не мог ни на минуту оторваться, уйти куда-то и был готов в любой миг отвести какую-либо угрозу схватке, не допустить срыва, устранить из Урочища кого бы то ни было. Вероятно, кому-то и когда-то удавалось все-таки тайком, издалека подсмотреть за предками Ражного, среди ночи в глухом лесу возделывающими пашню. И ничего, кроме недоумения и страха, эта потаенная работа не вызывала, отсюда и брала начало колдовская слава...

А что еще мог подумать оглашенный – несведущий и любопытный человек?

После смерти отца в роше не было состязаний, поскольку Вячеслав не вступил в совершеннолетие, а значит, и в права наследства вотчины. Ристалище, как всякая отдохнувшая земля, могло быть особенно плодоносным, и на это обстоятельство более всего полагался Ражный, и сейчас, обласкивая свою ниву, он, как дерево, тянул из нее силу и сок энергии. Но этого было слишком мало, чтобы восстановиться после охоты на матерого; обычно вотчинники, возделывая борцовский круг, получали от него некий десерт, после того как основательно насытились, добавляли последние штрихи упорства и воли: земля впитывала и хранила силу, оставленную здесь поединщиками...

Он же был голоден и страдал от волчьего аппетита...

Перед рассветом, не завершив своего земледельческого труда как бы хотелось, как учил отец, он установил столб солнечных часов и почувствовал, что может внезапно сломаться и заснуть прямо на ристалище, и тогда бы земля отняла даже то, что дала. Убрав инструмент, Ражный взял волчью шкуру и ушел под дуб Сновидений. Если Колеватый раскрыл тайну деревьев Урочища, то непременно хоть пару часов, но поспал здесь и видел вещий сон, растолковав который можно узнать исход поединка. В это верил каждый засадник, а хозяин Урочища норовил хоть на часик вздремнуть под вещим деревом...

Прежде чем лечь самому, вотчинник обследовал всю северную сторону подножия дуба, в основном на ощупь, но явных следов поединщика не обнаружил, поскольку земля оказалась выкатанной кабанами, устроившими тут лежку.

Может, во сне увидел себя победителем и потому презрел законы, протопал по ристалищу? Или вообще не искал этого места, будучи уверенным в своих силах?

Так и не разобравшись, он расстелил шкуру мездрой кверху, затем достал фляжку с волчьей кровью, разделся и стал натираться.

Когда его предки ходили на поединки по чужим вотчинным рощам, то вбивали в Поклонный дуб медвежьи клыки.

Ражный вел свой род от охотников.

Наливая кровь в ладонь, он старался не обронить ни одной капли и так же бережно втирал ее в плечи, руки, грудь, ноги, оставляя чистыми лицо, голову, пятна в области сердца, солнечного сплетения и зарубцевавшейся раны на боку, где отсутствовали ребра. Серая в предутренних сумерках жидкость впитывалась почти сразу, и вместе с ней входила в его тело тончайшая сакральная энергия, существующая только в крови и нигде больше. Она несла в себе огромную по объему информацию, в том числе способную изменять генетический код. Человеческая и звериная кровь были несовместимы, и потому организм забирал из нее лишь то, чего не доставало – волчью ярость, выносливость и отвагу, – но во время переливания от человека человеку происходили непредсказуемые, стихийные изменения, и потому, когда в полевом госпитале Ражному попытались влить консервированную кровь, неведомо у кого взятую, он встал с койки и ушел в свою бригаду.

Натеревшись, он лег на шкуру, прижал к ней позвоночник, нашел место у бедер, чтобы положить на мездру ладони, сделал глубокий вздох и мгновенно уснул.

Через три недели ему уже не хватало молока Гейши; волчонок сосал один за четверых, вскоре отлучив родных щенят от материнских сосцов, поскольку рос быстрее, чем ее дети. Точнее сказать, отлучили вдвоем с человеком, с которым свела его судьба, поскольку догадливый и сообразительный, он приносил звереныша в кочегарку ко времени, когда вымя наливалось молоком. Родные полуторамесячные щенки уже лакали коровье молоко, ели творог, отварное мясо и бульон, однако же тянулись к вымени, а оно всегда было пустым. И гончая уже привыкла к чужаку, приноровилась к устрашающему запаху и, чувствуя в звереныше природную, ярко отличимую от своих щенят силу жизни и мощь рода, с удовольствием питала его своим молоком, словно отдавая дань далекому прошлому, своему изначальному корню, дикой, но прекрасной стихии. Скрытая до поры до времени страсть и стремление омолодить, взбодрить собачью кровь помимо воли возбудили в ней материнскую любовь к зверенышу; и это чувство потрясающим образом уживалось с чувством иным – извечным страхом и ненавистью.

Самоуверенный и спесивый человек наивно полагал, что нет ничего в мире основательнее и вернее, чем собачья преданность; он с гордостью принимал эти знаки, когда пес лизал ему руки, исполнял команды и был готов повиноваться. И невдомек ему было, какие природные силы таятся в прирученном ласковом существе. Впрочем, и сами собаки того не ведали, и когда блуждающие токи, вызванные средой, достигали от рода заложенные, но спящие инстинкты, происходил взрыв, от которого сотрясались все приобретенные за тысячелетия жизни с человеком привычки и обычаи.

Гейша кормила волчонка, и чем он больше высасывал из нее жизненного сока в виде молока, тем с большей страстью она вылизывала его, подчиняясь зову смутного чувства. Человеку, наблюдавшему сие действо, казалось, что происходит это от материнского желания вычистить, обеззаразить детеныша, обласкать его, возможно, утешить боли в животе, случающиеся от щенячьей жадности.

Собака же интуитивно совершала ритуал, говоря человеческим языком, производила коррекцию своей генетической природы, вбирала в себя волчий энергетический потенциал, который всасывался в ее существо через самый нежный орган – язык.

Сытого волчонка тянуло на игры и ласки, и это особенно нравилось человеку, которого звереныш просто терпел, как человек терпит временное неудобство, но вынужден жить, поскольку ничего больше не остается делать. Он считал вожаком стаи того, кто спас его, и ни время, ни обстоятельства не могли поколебать его приверженности. А этот кормящий человек по недоразумению считал, что он – хозяин, всемогущий господин, перед которым трепещет и пресмыкается настоящий волк – виляет хвостом, лижет руки и от грозного окрика забивается в угол и трясется, поджавши тот же самый хвост. Человеку было приятно повелевать зверем, и часто без всякой на то причины он проявлял власть, сердился, топал ногами или вообще пинал, таким образом заставляя уступать дорогу в тесной каморке. Когда же находился в добром расположении духа, то принимался натаскивать, как собаку, – приказывал исполнять команды и нарочито строжился. Звереныш терпеливо все это сносил, ибо от природы имел представление о стае и иерархии, существующее в нем на уровне волчьего закона. Кроме вожака, были и другие волки, ниже рангом, однако имеющие власть над ним, пока он ребенок. И они обладали правом давать пищу и лишать ее, оставлять в стае либо изгонять, казнить и миловать. И потому ничего не было зазорного, противоречащего волчьему естеству в том, что он покорялся старшему и сильному, доставлял приятные минуты самоутверждения. Тем более звереныш был сбит с толку образом человека, исполнявшего роль не только кормильца, но и таинственного существа, излучающего страх, поскольку смириться и привыкнуть к его пугающему, ненавистному запаху он не мог ни при каких обстоятельствах.

Волчью душу раздирало противоречие, в общем-то, естественное для его возраста и решимое со временем, когда окрепнут мышцы и воля и когда он сойдется с этим диктатором в поединке.

Через месяц волчонок вытянулся, догнал и почти вдвое обогнал собачьих щенков и стал тиранить их, загоняя в угол, чтобы одному и безраздельно владеть источником животительной силы. У Гейши тогда начал резко портиться характер. Портиться с точки зрения человека: в повадках все чаще обнаруживалось презрение или нелюбовь к людям, она с угрожающим ворчанием отгоняла от себя родных детей и крысилась, отнимая у них пищу, а в полнолуние неожиданно завывала, не давая спать всем обитателям охотничьей базы. И наконец, она восстала против звереныша, однажды трепанув его жестко и определенно, когда, принесенный в кочегарку, он сунулся к сосцам. Для него это было сигналом взросления, и волчонок прочитал его, но человеку такой поворот не понравился. Он пристегнул Гейшу на поводок, подтянул коротко к трубе и снова подпустил звереныша.

– Жри давай, стервец!

Волчонок тогда еще не понимал человеческую речь, но точно определял по интонации, что от него хотят, однако язык собаки, вернее, ее зубы, оказались красноречивее. Он тотчас же отпрянул от вскормившей его суки и, подойдя к ее миске, стал нюхать пищу. Вареная крупа с мясными отходами ему не понравилась; он отфыркал запах и покосилапил к двери.

Человек тоже начинал кое-что понимать в поведении звереныша и расстроился:

– И чем же тебя кормить теперь?

Дело в том, что молока Гейши не хватало давно, и человек пробовал прикармливать волчонка отварным мясом, бульоном и творогом – пищей, которую с удовольствием пожирали гончие щенки. Этот же отказывался наотрез от всякой вареной пищи, а от сырого мяса начинался неудержимый понос, от которого спасало лишь собачье молоко. С горем пополам звереныш вылизывал сырые яйца, однако кур на базе не держали, и появлялись они здесь от случая к случаю. Увлечшийся было кормлением и воспитанием волчонка человек снова пришел в отчаяние, поскольку места в диване уже не хватало, держать его приходилось под столом в каморке, приколов к ножкам доски, и оголодавший звереныш мог своим урчанием и скулением привлечь внимание. Правда, он в какой-то степени осознавал свое тайное житье у человека и, когда был сыт, отличался молчаливым характером, доставшимся от природы, особенно

если за стеной, в кочегарке, появлялся егерь-собачник. Но от нехватки пищи волчонок терял бдительность, и человек спасался тем, что завешивал матрацами логово под столом. В этом случае лишенный воздуха и света звереныш урчал, блажил и грыз доски без перерыва, однако, кроме Гейши, никто его не слышал. А та начинала беситься от звериных мук и когда в порыве неясной для человека ярости укусила хозяина, ее перевели в общий вольер к гончакам.

Уже на второй день голодовки волчонок прогрыз дыру – обломанные когда-то молочные зубы отросли, но были искривленными, сильнее, чем обычно, загнутыми внутрь пасти, отчего иногда вцепившись в матрац, он сам не мог долго отцепиться, пока не привык. Выбравшись из логова в отсутствие своего кормильца, он устроил разгром в камерке: испортил продукты, какие были, изорвал постель и перебил всю посуду, обрушив со стены шкафчик. Единственный выходной костюм со Звездой Героя на лацкане тоже оказался на полу кое-где изжеванным и порванным, но самое главное, в клочья порвал кипу благодарностей и почетных грамот, сохраняемых человеком со старанием и любовью. Он искал пищу, пробуя на зуб все подряд, и вовсе не хотел делать зла, однако человек расценил все по-своему – порол его веревкой до тех пор, пока звереныш от отчаяния не набросился на него и подростшими клыками не распорол бьющую руку, узрев в ней противника.

Кровь хлынула ручьем, кормилец испугался и убежал.

А волчоноклизал эту кровь и успокоился. Он не чувствовал вины и потому невозмутимо бродил по разгромленной камерке, продолжая вынюхивать съестное. И обиды не затаил, ибо, по его разумению, отплатил за боль и несправедливую трепку. Отплатил не человеку – его наказующей руке и если ожидал вражды, то именно с ней, как с отдельным существом, подобным кормящей собаке. Надо сказать, существом, никак не связанным с человеком, пока не воспринимаемым, как его продолжение, нелогичным и вздорным: то ласкающим, словно материнский язык, то сердитым и злым без всякой на то причины.

К человеческой руке нельзя было привыкнуть из-за непредсказуемого поведения.

Однако с рукой что-то произошло: вместо мщения она наконец-то принесла съедобную пищу – кусок плесневелого сыра. Волчонок в одну минуту сожрал его, а человек обрадовался, убежал и через некоторое время принес еще. Новой порции опять не хватило, и тогда он притащил целый сверток приятной, позеленевшей и мягкой пищи, отдаленно напоминающей материнское молоко. Однако укус и видимый звериный аппетит заметно добавили ума руке дающей, и наутро она бросила целую рыбину, пахнущую гнилью. Волчонок сожрал ее и до обеда спал как убитый, однако во второй половине дня вновь начал скулить. Тогда человек бросил ему кусок твердой, воняющей едким дымом колбасы. Он лишь понюхал, фыркнул и отошел в сторону.

– Ну, не знаю! – рассердился кормилец и сам съел колбасу. – Капризничаешь, как иностранец! Дерьмо какое-то жрешь, а от салями нос воротишь! Все, сил моих больше нет. Иди-ка ты в лес!

В тот день на базе никого не было – хозяин уехал в город встречать гостей: летом здесь не охотились, но рыбачили на реке и отдыхали на природе важные или состоятельные люди, не желающие «засвечиваться» в местах обжитых, многолюдных и официальных. Поэтому выпал случай, когда можно было безбоязненно избавиться от звереющего волчонка.

Кормилец посадил его в рюкзак, унес на километр в лес и отпустил.

Впервые после заточения звереныш оказался на воле. Запахи и простор на какое-то время ошеломили его и повергли в страх. Он долго бродил по земле, забыв о человеке, принюхивался, пробовал есть мох, древесную кору и траву, пока не уловил приятный гнилостный запах. Через несколько минут волчонок оказался возле базы, в помойной яме, и это было закономерно, ибо после неволи абсолютная свобода всегда приводит в подобные места. Здесь оказалось вдоволь нужной ему сейчас, полезной и сытной пищи – попадались даже куски протухшего мяса и целые испорченные рыбины. Нажравшись от пуза и вымазавшись в грязи, вол-

чонок прибежал к своему логову – каморке – и зарычал, чтобы впустили. Обнаружив его, человек хотел было вновь отнести звереныша в лес, однако уже было поздно: на территорию базы въезжали машины...

Первый поединок араксы называли между собой Свадьбой, или Пиром Свадебным, где, как говорили в старину, и гостей напоишь, и сам напьешься. Но хозяину-вотчиннику не пристало на земле валяться, а след гостя дорогого потчевать, и так, чтобы в лежку лег.

Если уж доведется испить чашу, то собственной крови...

Перед Пиром своим Ражный заснул на утренней, а проснулся на вечерней заре со свирепой головной болью и острым приступом тревоги. Он ни разу в жизни не пробовал алкоголя, знал похмелье только по страданиям сослуживцев в бригаде, клиентов-охотников и собственных егерей на базе и теперь думал, что все они испытывают примерно такие же ощущения. Он понимал, отчего все это происходит: перебрал вчера с накачкой боевого духа и энергетической устойчивости, работа с землей на ристалище и волчья кровь – слишком сильные средства. Сейчас происходило нечто вроде наркотической ломки, на которую Ражный насмотрелся в Таджикистане. Чтобы излечиться от вчерашней передозировки, сегодня требуется вдвое увеличить эту самую накачку, но борцовский ковер почти готов, а фляжка пуста...

Матерый потерял так много крови от многочисленных ран, что натекло всего около стакана – за счет чего жил, непонятно.

А главное, под дубом Сновидений ничего не приснилось, и только неясная, но сильная тревога росла и закручивалась в спираль, как солнечный протуберанец. Отчего болит голова, было ясно – нельзя спать на закате; чем же навеяно это неожиданное чувство, заставляющее по-звериному выслушивать пространство и лежать, затаившись, почти не дыша? Что это? Впечатление от забытого вещего сна? Предчувствие будущего?..

В Урочище было тихо, безветренно, косой меркнувший свет пробивался сквозь листву, и длинные тени лежали на багровеющей земле. Хоть бы птица крикнула, стукнул дятел или треснул сучок – глухая тишина, и колокольным набатом гремит пульсирующая кровь у барабанных перепонок, размешанная пополам с болью.

Прошло четверть часа, прежде чем Ражный уловил, как к ритму собственного сердца примешивается иной, чужеродный стук, плывущий низко над землей, будто придавленный заходящим солнцем. Ухо еще не слышало его, но обостренные болью чувства принимали малейшие колебательные движения в атмосфере, и далекий звук приносился в рощу потоками света гаснущего дня. И это был не мираж, не галлюцинация: еще через четверть часа со стороны лога донесся отчетливый перестук копыт.

Где-то целые сутки носило братьев Трапезниковых по лесам, и вот выбрали же время возвращения! Скакали при свете, потому и прямил дорогу, думая попасть домой к сумеркам. Нет, не зря Ражный сделал затвор! Вот он, опасный момент, когда по Урочищу за несколько часов до поединка рыщут оглашенные, когда без малого готов борцовский круг, и если вотчинный назначил срок, всякий его срыв – это победа вольного поединщика. Приди он в рощу пораньше, услышь стук копыт в пределах Урочища, а хуже того, увидь всадников, может еще раз протопать по взбороненному ристалищу, воткнуть в землю свой родовой знак и спокойно удалиться, поскольку знает, где, когда и с кем следующий поединок.

И Ражный ни за что в жизни не решится оспорить такую победу в Судном Урочище, ибо мгновенно окажется в Сиром...

Он лежал, по-прежнему не двигаясь, считал время и расстояние, когда эти необразованные и невероятно смысленные парни нарвутся на волчий затвор. И чем ближе становился ритмичный бег лошадей, тем выше частота биения собственного сердца и сильнее головная ноющая боль, порожденная заходящим солнцем. Двести, сто, полсотни метров... Вдруг тревожно заржали кони – верно, вскинулись на дыбы, затанцевали от страха, усиленного памятью недав-

ней волчьей расправы, и следом послышался крик, мат, гиканье и еще что-то нечленораздельное: должно быть, понесли!

Эх, только бы хребты остались целы, а руки и ноги срastутся, и вырванные сухими сучьями клочья кожи затянутся новой!..

Но что это?! Мат становился жестче, решительней, словно в атаку пошли братья, и показалось, уже слышны удары плетей по конским бокам. Да! Они пороли лошадей, болью подавляя ужас животных, и гнали вперед – в ту сторону, куда противилась ступать порода травоядных. Пороли, наливаясь яростью. И ею заглушали собственный страх!

Их не держал затвор...

Всадники сломили коней, и те, как люди, которые в крайнем отчаянии бросаются на амбразуры или таранят самолеты противника, понеслись по дубраве, издавая тягучие, знобящие стоны, тоже чем-то похожие на мат.

Ражный сжался в комок, будто перед прыжком с парашютом, сосредоточил себя на приближающихся звуках, внутренне готовясь проделать то же, что сейчас совершали несведущие и бесстрашные братья. Они мчались тем же размашистым галопом, и в какой-то момент Ражный ощутил толкаемый ими поток мощной, борцовской энергии. Не ведая того, они вбирали в себя сакральную силу Урочища и готовы были к поединку. Пусть со зверем, но к поединку!

Он подпустил их метров на тридцать, медленно отделился от земли и пошел мелким, плывущим шагом. Первыми его увидели, а точнее, почувяли лошади – взрыли копытами землю на скаку, взвились на дыбы, словно натолкнувшись на незримую стену и чуть ли не сбрасывая седоков. И затем Ражного узрели братья.

– Дядя Слава?! – машинально определил или спросил один из них, и это был единственный членораздельный возглас.

Далее раздался лишь кричащий страх.

В руках парней, будто у завязых ковбоев, торчали двустволки, но о них вмиг было забыто. Возвращенные в дикой природе, они воспринимали ее цельность и гармонию, и все, что выбивалось из этого ряда, становилось непостижимым для их сознания. Перед ними стоял оборотень, но еще до конца не перевоплотившийся, похожий на волка, ибо присохшая шкура не осталась на земле – потащилась на плечах человека...

Разум отказывался верить тому, что видели глаза.

Теперь не нужно было понуждать, пороть коней, поскольку чувства животных и людей слились воедино. Теперь они в самом деле могли переломать хребты, да говорят, в такой час полного безумства всякое живое существо хранит Господь...

Спустя несколько минут над Урочищем вновь повисла полная тишина. Такое скорое избавление от свидетелей могло бы порадовать – больше в дубраву носа не сунут! – однако Ражный слишком хорошо знал братьев Трапезниковых. Через некоторое время этот страх пройдет, и на смену ему появится любопытство: кто увидел мир цельным от рождения, тот недолго празднует труса. Они не поверят в оборотничество. Иначе разрушится и превратится в хаос их мировосприятие.

Потом вотчиннику придется отводить пристальный интерес несведущих к его владениям, а сейчас ему было недосуг. Ражный сел под дерево, прижавшись к нему позвоночником, и не почувствовал тока энергии. Или все заглушала стучащая боль...

До поединка оставалось не более трех часов, и то, надо полагать, Колеватый придет чуть раньше, чтобы со стороны понаблюдать за соперником, понять его предсхваточный дух и окончательно определиться в тактике.

Он выдрался из присохшей к телу шкуры, оделся и побрел в лог, к ручью, в буквальном смысле держась за деревья. Там он ополоснулся, вместо мыла используя болотный хвощ, почувствовал облегчение, но не настолько, чтобы сей же час идти к Поклонному дубу и на правах хозяина встречать вольного поединщика.

И все-таки он рискнул: лег головой к воде и долго смотрел на ее бег. Стояла жара, давно не было дождей, и ручей пересыхал, питаюсь лишь подземными источниками, потому не бурлил, как в половодье, не ворочал камни, а катился тихо и сонно – сейчас требовалась совершенно иная энергия! Не по звериному следу идти, не петли его распутывать – драться!

Ражный промыл совершенно пустой желудок более для того, чтобы соблюсти ритуал, и поднялся из лога в дубраву. Боевая одежда лежала в рюкзаке, ношенная, стираная и штопаная: на первый поединок по обыкновению сын выходил в отцовской рубахе и портках и только пояс надевал свой, изготовленный каликами переходжими в Сиром Урочище и принесенный ко дню появления на свет. Младенца повивали этим поясом сразу же, как только отрезали пуповину.

Будут победы на ристалищах – новых рубах калики нанесут столько, что и внукам будет в чем выйти в рощу...

Он разложил одежду на траве, после чего извлек из рюкзака икону Покровителя Засадного Полка – Сергия Радонежского и поставил в развилку дуба Почитания. Ему не нужно было ни молиться, ни просить о чем-либо; важнее для всякого поединщика, и особенно для того, кто выходил на ристалище впервые, считалось символическое присутствие Святого в момент приготовления. В некоторых родах с иконой Преподобного шли до самого ристалища, дабы убежать от дурного глаза, но большинство араков смеялись над подобным обычаем и выходили на поединок со светочем – очистительным огнем, зажженным в чаше, подвешенной на цепях к треноге. И если не угасал этот огонь до конца состязания, то становился или факелом победы, или огнем позора.

Обрядившись в рубаху с отцовского плеча, Ражный сделал еще одну попытку подняться над землей, внутренне перевоплотившись в нетопыря. Он лег на живот, раскинул руки, затем перевернулся на спину и, закрыв глаза, стал ловить мгновение, когда просветлеет и полностью очистится сознание, когда мир раскрасится пестрыми следами и пятнами неуловимых красок и энергий и ему останется лишь парить среди них, как птице в облаках.

Но прежний полет был слишком долгов, и теперь не хватало сил совладать с собой – мал размах крыльев, чтобы создать подъемную силу, и слишком велик груз мыслей перед первым поединком...

А тут еще на нижний сук древа Жизни тяжело опустился ворон – вечный спутник всех ристалищ, склонил голову и воззрелся на распластанного человека черным выпуклым оком...

Был Колеватый из рода кузнецов, но сам, пожалуй, никогда у горна не стоял и молоток в руки брал, когда обживал в новом гарнизоне старую казенную квартиру. Отовсюду выпирала у него военная кость: не сучил кулаками напрасно, берег силы, держал резерв, не размениваясь на ощутимые, но не вальные удары. Ждал, выгадывал, искал, где оборона неэшелонированная, где можно проткнуть фронт, и если находил слабое место – бил кулаком, словно молотом, показывая, откуда корень идет. И двигался по ристалищу легко, несмотря на вес, позицию выбирал от солнца, чтоб слепило противника, и если Ражный вышибал его с восточной стороны, норовил ложными выпадами и пропусками ударов выманить к западу и снова занять выгодное место.

Расчетлив был поединщик, умен и учен, после первых минут боя ясно стало – походил он по рощам и еще походит. По крайней мере, рубаха на нем не отцовская, а своя, уже стиранная и штопанная – знать, не раз приносила счастье.

Первый раунд схватки – кулачный зачин, начали, как полагается, с первым лучом солнца, когда тень от столба часов тронула по касательной земляной ковер. Долго топтались по кругу, прощупывая друг друга, каждый искал допустимую дистанцию сближения, дабы проверить, на сколько можно подпускать к себе противника, испытывали реакцию, отрабатывали и проверяли тактику, ранее принятую. В последний миг перед поединком, уже возле Поклонного дуба, поджидая Колеватого, Ражный забыл о вороне, поскольку услышал другую птицу – кукушку.

И чистый, звонкий голос ее в утренней дубраве наконец-то ослабил земное тяготение, высветлил сознание; он не взлетел нетопырем, однако в поединок вступил легко и азартно, чем несколько и обескуражил соперника.

Уже привыкнув защищать локтевым сгибом свой бок без ребер (там образовался провал, и хоть специальными упражнениями удалось нарастить мышцы, попади туда кулак – печень вдребезги), он пропустил сильнейший удар под горло: словно торцом бревна попало, и обычно от такого на ногах не стоят. Вотчинник Ражный устоял – земля родная помогла, качнула в обратную сторону, не дала упасть. А Колеватый уверен был – сшиб противника! И даже не отскочил назад после выпада – напротив, вперед потянулся, как бы склоняясь над лежащим, и тотчас же получил встречный, почти в то же место, и следом добавочный, левой рукой в плечо. Спасло поединщика умение двигаться, не перебирая ногами, мгновенно переливать центр тяжести; его лишь развернуло, да большая голова мотнулась вперед – расслабил шею. Или это у него – слабое место?..

После такого обмена Колеватый заужавал хозяина, сменил тактику, стал подставлять ему солнце в глаза и шупать уязвимое место. Знал бы он, в каком боку нет ребер, – давно бы, как ворон, расклевал печенку даже несильными ударами, но прикрывала пробойное место отцовская рубаша да чуть-чуть, лишь краем, собственный повивальный пояс.

Кулачный бой – не бокс, где соперники молотят друг друга, укладываясь в трехминутный раунд. Здесь никто не задыхался от суетливых движений и спринтерского напряжения; рефери не контролировали каждый удар, не растаскивали, не считали секунды над поверженным бойцом, не разводили по углам и не махали полотенцами.

Поединок в роще проходил без судей, свидетелей и публики; араксы не искали тут денег и славы, а потому бились по правде. Кулачный зачин считался более игрой, нежели решительным боем, своеобразной разминкой, показом удали, демонстрацией силы, разведкой боем. И потому редко когда приносил победу, да и где там уложить противника, если оба еще полны мощи, упорства и воли? А если случалось такое, поединщик долго пользовался своим успехом как психологическим давлением перед другими схватками: несмотря на правила, распускал молву. Отец говорил, бывало, при зачине соперники шутили, обсуждали последние новости и чуть ли не о погоде толковали. В роду Ражных не существовало какого-то особого, наследственного удара или приема в кулачном бою; зато был способ уходить, ослаблять или держать удар, когда не уйти. Для этого требовалось пристально следить за противоборцем, все время считывать информацию с его лица, глаз и особенно с области солнечного сплетения, ловить испускаемую им энергию.

Это значит, в течение всего поединка время от времени входить в состояние «полета нетопыря»...

Голос кукушки оторвал его от земли на пару минут, не больше.

И лучше бы не отрывал: Ражный увидел соперника в ином свете, но успел лишь на миг устраситься. Пожалуй, Колеватый имел право вести себя вызывающе при внешней покладистости. Не туманные сгустки, не легкие мазки оставлял он в воздухе – потоки сиреневого оттенка, буровато-багровые столбы физической энергии и яркие, лохматые протуберанцы ярости.

Из-за пестрой окраски отец называл таких араксов бойцовыми петухами.

Мгновенный полет напугал и помог одновременно: Ражный окончательно определился с тактикой поединка – вести его с упорством и все нарастающим азартом, чтобы в последнем, третьем, периоде поединка – сече, довести себя до точки кипения. Главное – выдержать и сохранить силы в кулачном зачине, выстоять против кузнечных молотов.

Пропущенный удар подогрел вотчинника, может быть, чуть больше, чем надо, и после ответного, потоптавшись медведем, он стал теснить Колеватого к краю ристалища, совершая зигзагообразные движения рыщущего волка. Поединщик был вынужден все время менять

стойку, лавируя и защищаясь от обманных атак, и как только приблизилась граница земляного ковра, понял замысел Ражного, не захотел быть выбитым из борцовского круга.

И получилось, хозяин рощи сам задал слишком усиленный темп в зачине. Колеватый крикнул неожиданно высоким, звенящим голосом и будто лезвием резанул барабанные перепонки. И тотчас же прыгнул в сторону, увернулся от встречного удара – кулак лишь скользнул по мощному, непробойному животу – и сам достал Ражного сильным боковым ударом, по счастью, с левой стороны. Хозяин поединка успел лишь ослабить его, мгновенно качнуться влево и, чтобы не рухнуть набок, пошел колесом через руки, оказавшись далеко от соперника. Сиюминутное прикосновение ладонями к земле слегка разрядило азарт, Ражный стал крутить соперника у середины круга, как волк крутит лося, загнав в чащобу. Но если зверь жаждет крови, то вотчинник тянул время, дабы завершить кулачный зачин.

Колеватый и это понял, согласился и охотно завертелся в предлагаемом ритме, поглядывая на солнечные часы – укороченную тень, ползущую к центру ристалища: когда нет явного преимущества, засадники всегда экономили силы для второго периода – братания – и иногда попросту валяли дурака на ристалище, поджидая, когда солнечные часы пробьют полдень, и между делом утрамбовывая землю для следующего этапа. Но сохраняя уровень разогрева и азарта, они обменивались не вальными, однако ощутимыми ударами, поигрывали мускулами, шутливо угрожали друг другу выпадами, ложными натисками, а Колеватый вдруг откровенно начал кичиться своим непробойным дыхом – бугристым, железным животом, умышленно пропуская удары, дескать, на, потрепи свои новые рукавицы, поломай пальцы, побей козонки...

И к концу этой игры внезапно стал серьезен, резко изменил тактику, откинул баловство – наконец-то узрел локтевой сгиб Ражного, почти все время висевший напротив правого уязвимого бока.

А вотчинник все время подставлял ему левый и крутил поединщика в ту же сторону. Проверая свое открытие и, как на секундомер, поглядывая на солнечную стрелку часов, он провел несколько атак, заставляя вотчинника раскрыть больное место, и получил подтверждение.

Он не мог знать, что там скрыто под рубахой, однако теперь нацелился именно туда и начал работать правой рукой, как отбойным молотком, уже невзирая на собственную оборону. Привыкший к своей ране, всегда помнящий о ней, Ражный изобрел собственный способ ее защиты: неожиданный, стремительный оборот на триста шестьдесят градусов через левое плечо и одновременный слепой удар противнику в ухо. Свалить не свалишь, однако эффект внезапности делает свое дело – ломает тактику противника. Дважды он крутанул такого волчка, дважды наугад попал по голове Колеватого, сбил его напор, но переориентироваться, найти противоядие у него не хватило времени.

Тень от столба перечеркнула центр ристалища...

Братание начиналось без всякой передышки, и если ранее противники ощущали друг друга лишь в короткий миг ударов, то теперь, скинув рукавицы, обнявшись по-братски правыми руками, левыми взяли за пояса друг друга.

И сразу задышали друг другу в лицо. От поединщика шел военный дух, разве что не солдатский, а штабной, канцелярский, писарский – знакомый до боли и всегда вызывающий неприятие, ибо нет важнее в армии начальника, чем писарь. А когда им начали ставить компьютеры вместо чернилниц, ручек и пишущих машинок, вообще стало не подойти, особенно если ты всего-навсего прапорщик.

Второй раунд также был известен простонародью и чем-то отдаленно напоминал схватку на кушаках – весьма популярную на Руси и требующую большой силы и выносливости. Разве что братание проводилось многократно жестче, яростней и заключалось не в том, кто кого перетянет и бросит с крюка или с холки, через бедро; второй период как бы вбирал в себя и эле-

менты первого – зачина, когда противники расцеплялись, борьба не прекращалась ни на мгновение, переходила в короткий кулачный бой, пока единоборцы вновь не бросались в братские объятия.

Вот тут уж рыли землю босыми ногами, вспарывая ристалище, словно сошниками!

И эту часть поединка Ражный проводил в темпе нарастающего азарта, но раскрытый, выдавший уязвимое место, вынужден был постоянно удерживать соперника, не давая ему возможности отцепиться и перейти в кулачный. Пояса араксов, изготовленные каликами в Сиром Урочище, были шириной в ладонь и толщиной до полутора сантиметров – использовались кабаньей панцирь или воловья кожа с хребтовой части, на которой обычно вешали колокола. Вдобавок ко всему иногда пояс обтягивался специальной тончайшей кольчугой и обязательно вчekanенными медными бляхами – своеобразными клеймами, как на житийных иконах, где изображались ключевые моменты бытия рода аракса.

Братание было выигрышным периодом, и здесь Ражные владели своим почерком, комплексом приемов, один из которых вотчинник сейчас и выбрал: захватив пояс и шею Колеватого, сдавил, стиснул, будто засупоненными клешнями хомута, немного обвис на нем и поставил в положение, когда соперник все время находится в напряжении, по сути, удерживая на своих железных мышцах живота груз весом больше центнера. Он точно определил характер поединщика – бойцовый петух, привыкший к наскокам, молниеносным ударам и свободе передвижения. И теперь обвил, сковал его и, таская по ристалищу, в буквальном смысле пахал его ногами утоптаный в зачине круг.

В братании, как в танце, важно было водить партнера и не ходить у него на поводу. И каким бы он крепким ни был, пока тень от столба солнечных часов не укажет время сечи, можно умучить его, несколько раз перепав политую потом борцовскую ниву и в третий раунд вступить с большим преимуществом.

Существовали не только наследственные тайны приемов боя, но и секреты Урочищ, тщательно хранимые вотчинниками, и первые практически всегда зависели и диктовались вторыми. Все тайное давно бы стало явным, коли попало на глаза или в руки сведущему, но в tomto и дело, что все находилось в тесной взаимосвязи. Например, иные вотчинники утрамбовывали борцовский круг, иные выращивали на нем траву особого сорта, на которой без специальных навыков и устоять трудно, а иные поверх земли в ночь перед поединком плели из лозы циновку и после схватки сжигали, что оставалось, чтобы замести следы. Вольные засадники потому и назывались вольными, что не имели своих вотчин, не занимались пестованием рощ и ристалищ и обязаны были принимать бой на том покрытии, которое предложено хозяином Урочища. Ражный возделывал ристалище в мягкую пашню – хоть репу сей – только потому, что знал родовой прием умучивания соперника тем, что тот не мог как следует упереться ногами и превращался в соху. Но для того чтобы использовать такую технику, был еще один наследуемый секрет – мертвая хватка левой руки, стискивающей пояс противника. Она же в свою очередь вязалась со следующим таинством – особыми способами тренировки кисти, специальными упражнениями, придуманными не одним поколением вотчинников Ражных. А еще развитие тягловых, «конских» мышц спины и ног, против которых не мог устоять даже каменной твердости пресс.

И родовая генетика тут играла не последнюю роль...

Колеватый никогда не боролся в Ражном Урочище, не знал, что его ожидает, потому и бросился искать дубраву, а найдя ее, определил, где ристалище, но не мог понять, каковым оно будет в день поединка (тут и занятость матерым помогла), поскольку борцовский ковер восемь лет стоял в запустении. И сейчас, когда его превратили в соху, он на какое-то время потерял всякую инициативу и волокся за вотчинником, буквально как мешок.

Воспользовавшись этим, Ражный пошел на обострение, резко поменял направление тяги и провел удачный бросок, не выпуская пояса. Колеватый рубанулся лицом в землю, но его

потрясающее умение мгновенно перемещать центр тяжести – будто мощная внутренняя пружина распрямилась – вмиг поставило на ноги, и даже коленями земли не коснулся! Однако шея сама попала в хомут, и вотчинник повел голову поединщика к бедру, проверяя, здесь ли слабое место. И сразу же ощутил мощное сопротивление! Мало того, Колеватый выпустил пояс Ражного и перехватил ногу под колено.

Такой поворот был неожиданным – видимо, обиделся, что и рожей попахал ристалище, взорвался и перешел в новое качество, как графит переходит в алмаз при высокой температуре и давлении, – в состояние Правила. Но если им сейчас водила обида, оставалось только жалеть, что не воспарил летучей мышью, иначе бы в тот же миг увидел все прорехи в его поле! Когда аракс на ристалище предавался не мастерству, а этому чувству, то и Правило не спасало от уязвимости.

Обида, по сути, открывала его, и оставалось увидеть ослабленное место и нанести удар...

Как всякий петух, Колеватый рвался к свободным движениям и, захватив ногу, наконец-то уперся, чуть ли не по колено уйдя в землю, и теперь выбирал момент для более плотного захвата и броска. Чтобы не дать ему сгруппироваться, Ражный еще крепче стиснул пояс, сдвинул шею сгибом руки и, сам распахивая ристалище, медленно потянул плененную ногу назад. Соперник чуть приспустил захват и вдруг начал каменеть, наливаясь твердостью и будто увеличиваться в размерах. Он пытался освободить свой пояс, дабы получить желанный простор для движения, хотя бы небольшой – этакий люфт для броска. Тогда вотчинник свел пальцы левой руки, скрутил толстую полосу воловьей кожи в трубку, обманчиво прослабил ногу и в следующий миг рванул пояс на себя, рассчитывая выпрямить Колеватого и таким образом высвободиться из захвата.

И тут произошло неожиданное: пояс лопнул, и концы его выскользнули из сжатого кулака.

Освобожденный поединщик немедленно выпустил ногу и вырвался на свободу. Воловий ремень спал с него, отлетев в сторону. Да, хоть и пахло от него штабным писарем, но он был человеком военным – сразу перешел в наступательный кулачный бой, норовя пробить уязвимую сторону. А Ражный, прикрывая рану, пошел на сближение, подныривал под его удары, метался по сторонам, с глухой защитой бросался в лоб. Колеватый же познал, в чем силен соперник, не подпускал ближе чем на расстояние вытянутой руки и тем самым стал выматывать силы и более давить психологически, ибо полностью сосредоточился на его правом боку. И все-таки вотчинник дважды сближался с ним, захватывал шею, но удержать поединщика на короткой было не за что. Машинально он хватал его за рубаху, однако после несильного рывка в кулаке оказывался клочок тряпки.

Он еще чувствовал в себе силу и упорство продолжать второй тур братания до конца, пока теневая стрелка солнечных часов не покажет условленное время. Он не собирался уступать и снижать планку азарта и одновременно ощущал, как теряет инициативу, отдает ее свободному, безременному Колеватому, а при братании не принято тянуть время – напротив, следует зарабатывать очки, ковать победу в третьем периоде.

Отец предупреждал: как побратался, так и посечешься...

Ражный знал, как можно взять поединщика и без пояса, смирить его и держать сколько угодно; и левая рука, наученная этому приему с юности, с трудом выстаивала против искушения, поскольку еще не пришло время сечи, а в братании эта хватка была запрещенной.

Колеватый все больше увеличивал напор, отрабатывал упущенное в начале раунда и опять сменил тактику – сам лез в руки, сам толкал шею в клещевину локтевого сгиба, зная ее толщину и крепость, давал выдрать пару клочков из рубахи и, будто смеясь, выворачивался. Левое ухо у него уже было надорвано, по горлу и груди сбегали капли крови и больше его раззадоривали. Он пропустил несколько прямых ударов по корпусу и один в челюсть, заставивший его отскочить, чтобы не упасть, однако Ражный не прочитал замысла соперника, на секунду

утратил бдительность, сделал мощный рывок на сближение, попытку встать в позицию братания с захватом ноги и открыл правый бок...

Если бы поединщик ударил прямым – доломал бы остатки ребер и размозжил печень. Но удар пришелся боковой, из неудобного положения, хотя и этого хватило, чтобы сбить с ног. Ражный упал на бок, в первое мгновение не ощутив боли. Мгновенно вскочил на четвереньки, но распрямиться уже не успел: Колеватый навалился сверху и замкнул руки под животом.

Вотчинник понял, что теперь ему уже не вывернуться из такой позиции до конца братания; поединщик не выпустит ни за что и постарается усугубить его положение, все ниже придавливая к земле, до тех пор пока не уложит на живот или не захватит голову бедрами. Он выбрал второе, хотя и не надеялся полностью заблокировать Ражного. Дабы не попасть в этот капкан, Ражный вынужден был все время пятиться назад, и получалось – Колеватый катается на нем по ристалищу и будет кататься до тех пор, пока не умучает и не услышит слова, дающего право на победу.

Или пока стрелка солнечных часов не коснется времени начала сечи...

Чаще всего в поединках так и случалось. И не было позорным, видя преимущество соперника и исход схватки еще в братании, сказать слово:

– Довольно.

Теперь вотчинник возил на себе поединщика и пахал коленями землю. Он уже чувствовал, что сечи ему не выдержать, и все-таки молчал, а грузный Колеватый все ниже придавливал к земле, блокируя движение. Ражный рассчитывал время и силы, чтобы до конца братания не лечь на живот, иначе заключительный этап схватки начнется из этого положения и ему нельзя будет снова встать на ноги перед сечей.

Он не мог видеть солнечных часов и ориентировался только по Колеватому, по его реакции на время. Перед окончанием второго раунда он непременно попытается сделать прорыв и уложить соперника на живот – жалко станет результатов братания! До полной победы, правда, ему придется еще потрудиться, перевернуть и уложить вотчинника на лопатки, а сделать это не так-то просто на рыхлой земле, и у него нет опыта борьбы на таком ристалище.

Похоже, и Колеватый уже притомился, ибо последовал не рывок, не взрыв энергии, а попытка придавить Ражного своим медвежьим весом – он и заворчал по-звериному, распрямляя соперника. Возился целую минуту, давил качками, словно толстое дерево ломал, но лишь вдавливал свои колени и колени вотчинника в землю.

И вдруг медленно расцепил руки и встал.

Только в этот миг Ражный понял, что довел все-таки поединок до сечи и теперь она состоится и все как бы начнется сначала: заключительный раунд схватки больше всего напоминал современные бои без правил, хотя одно было – не бить лежащего.

Но укатал его Колеватый, и сил, казалось, было лишь для того, чтобы встать на ноги...

Он встал...

Солнце клонилось к закату, и длинная тень от столба пала ему на лицо. Поединщик стоял напротив, в сажени от него, опустив черные от земли, перевитые жилами руки. Никаких передышек не допускалось и между этими периодами, но они требовались обоим, хотя бы секундные.

Ражный неслышно перевел дух, не спеша расстегнул кожаные пряжки на поясе, снял и отбросил его в сторону, за пределы ристалища; он мог это делать, если соперник остался без ремня...

Колеватый, кажется, был благодарен за такую отсрочку – пять секунд и то время. Глянул из-под низких, выпуклых бровей, развернул корпус вправо и слегка присел на полусогнутых ногах – готов был к сече.

Ражный не торопился, нащупал руками разрез отцовской рубахи на груди и внезапным рывком разорвал ее до низа, медленно снял, утер лицо, плечи и послал вслед за поясом.

Поединщик замер, потом выпрямился, опустил руки.

– Ты что, Ражный? – спросил хрипло.

Вотчинник сделал шаг в сторону, выйдя из-под солнечной стрелки часов, встал левым боком к Колеватому, однако ударной поднял правую руку. Левая тем временем слегка пошевеливалась возле бедра, расслабленная, даже вялая, как примученный зверек.

Поединщик наконец увидел толстый, уродливый рубец по дну мягкого, но бугристого от мышц провала на правом боку, как раз против печени.

– Я не хочу тебя убивать! – громче сказал он и машинально сделал короткий шаг назад – будто ногами переступил.

Вступать в сечу обнаженным до пояса значило биться насмерть.

Ражный крутанулся волчком влево, нанес скользящий удар по горлу и в тот же миг вправо, будто реверс передернул, однако лишь коснулся соперника левой рукой. Колеватый встал в защитную стойку и уже крикнул:

– Ты что, псих, Ражный?!

Казалось, рука вотчинника едва достала выпирающую сквозь рубаху огромную грудную мышцу соперника; отвлекающая правая просвистела возле челюсти, но раздался треск, будто сорвали горсть травы. Поединщик мягко отскочил и вместо того, чтобы пойти в ответную атаку, схватился рукой за грудь, и лицо его вытянулось. Тем временем Ражный, даже не прикрывая локтем ребра, сделал еще один выпад, боксерский, и будто шлепнул по боку Колеватого. Тот шарахнулся от этого шлепка, будто ломом получил, и снова послышался треск срываемой травы.

Поединщик чуть присел, согнулся вперед – не стойку принял, от боли зашелся, а вотчинник с ловкостью балерины сделал еще один волчок и на сей раз приложил ладонь к пояснице противника.

И не медля, и так уже согнутого и шокированного, с разбега взял на калган, поскольку иначе было не свалить с ног этого аракса...

Буквально три минуты назад уверенный в себе и в победе Колеватый откинулся и упал навзничь, припечатавшись к вспаханной земле.

7

Ражный постоял над ним, после чего, не склоняясь, подал руку.

Побежденный вскинул глаза и руки не принял, утнезидился в земле, приняв полусидячее, удобное положение. Если только что-то было удобное для него в этот час...

Взгляд его снова остановился на шраме.

А зря он сидел на земле, лучше бы принял помощь и встал: ристалище как пересохлая пустынная почва тянуло в себя остатки энергии.

Почему-то не вставал, медлил, слегка ерзал, терпя мучительную, обжигающую боль, охватившую сейчас все его тело. Так диктовали правила, или не хотел сразу сообщать место и время следующего поединка, не желал признавать себя побежденным, манежил теперь уже бывшего соперника, давил на нервы, куражился...

Ражный покинул ристалище, углубился в дубраву и, прихватив волчью шкуру, пошел назад. Улучив момент, Колеватый задрал на себе рубаху и что-то воровато рассматривал под ней, трогал пальцами и, захваченный врасплох, не стал скрывать своего интереса. Вотчинник же сделал вид, что ничего не заметил, поднял на ходу свой пояс и рубаху, сделал небольшой крюк и взял разорванный ремень поединщика.

Нет, он его не подрезал, как это делали иногда араксы: схалтурили калики перехожие, когда творили повиву для новорожденного Колеватого, вырезали на пояс кожу, посеченную свищами еще при жизни вола, не рассмотрели, не заметили взрыхленного, мягкого участка...

Тянуло рассмотреть бляхи-клейма, прочитать родословную, да уже ноги не держали: на секунду отвлекся и чуть не выстелился на вспаханном ристалище...

Бросил пояс Колеватому, потом шкуру на землю, мездрой вниз, лег и раскинулся на волчьей шерсти. Боковым зрением заметил, как поединщик сдернул рубаху и теперь откровенно рассматривал вздувшиеся огромными синими подушками грудь, бок и поясницу. Причем гематомы чуть ли не на глазах пухли еще и сливались в одну, обезображивая мощный, классический торс.

А вел он себя мужественно, ничего, кроме любопытства, к своим ранам не проявлял...

Через несколько минут разрыл землю, достал снизу прохладную и влажную, стал прикладывать к синякам.

– Не надо, не поможет, – глядя в сторону, проронил Ражный.

– Жжет, – спокойно отозвался он.

Вотчинник встал, поднял и отряхнул шкуру, бросил Колеватому:

– Завернись и лежи... – Сам же, не надевая рубахи, затянулся поясом по-боевому и пошел в дубраву.

– Куда ты, Ражный?.. Погоди.

Он обернулся – поединщик подавал руку, просил помощи. Конечно, символически, соблюдая обычай.

Вотчинник вернулся, протянул левую ладонь. Прежде чем взять, Колеватый глянул на нее с нескрываемым интересом, однако ничего особенного не обнаружил. Размерами левая кисть была даже чуть меньше правой...

– Голованово Урочище, у Вятских Полян. – Взял его руку. – Стерхов, из вольных... Вторая декада октября.

Бывший противник встал без напряжения, да зрачки выдали – расширились, очернили синие глаза. Сам поднял шкуру, посмотрел со всех сторон, затем взглянул на Ражного.

Тот кивнул.

Это был дар утешения...

– А поможет? – деловито спросил он.

– Размочи и мездрой к телу на ночь. Но сначала возьми иглу от шприца, да потолще... Спусти кровь из гематом, пока не свернулась.

Колеватый принял к сведению, еще раз глянул на зарубцевавшуюся рану на боку и что-то спросить хотел, однако обмотался, закутался в шкуру, будто озяб, и пошел восвояси.

Ему было нестерпимо больно, и потому он спешил уйти подальше с глаз вотчинника, чтобы где-нибудь в укромном месте, в одиночестве покряхтеть, постонать или даже поплакать, если это поможет.

Но сойдя с ристалища возле крайнего дуба, он обернулся, натянул на лицо волчью морду и завыл.

– Прощай, Колеватый! – ответил Ражный. Он знал, что побежденный в первом поединке аракс уже больше никогда не встретится с ним в рощах, а так вряд ли сведет судьба.

В ответ на прощание вольный поединщик заворчал волком, застонал:

– Позор мне... Позор на весь Засадный Полк.

– Не поминай лихом! – добавил хозяин Урочища.

Колеватый снял шкуру с лица и то ли пошутил, то ли пригрозил:

– Лучше не попадайся, прапорщик! С говном съем!

Отдохнуть в глухом углу на охотничьей базе и отметить пятилетний юбилей своего существования приехала московская охранный фирма «Горгона». На территорию базы въехала кавалькада из шести разноцветных иномарок, ярко-желтого микроавтобуса, и последним с какой-то скромной осторожностью вкатился огромный черный джип «Линкольн Навигатор» с затемненными стеклами.

Случилось это спустя немногим больше месяца после поединка, когда Ражный еще никого не принимал, отдыхал сам в свое удовольствие, разогнав егерей, наведаясь старый приятель, с которым когда-то боролись в одной клубной команде Ярославля, и уговорил принять его партнеров по бизнесу, в прошлом тоже спортсменов, людей достойных, нормальных и надежных в том смысле, что не принесут особых хлопот и не кинут с оплатой.

Предложение это Ражному понравилось, сулило выгоды – дела земные следовало поправлять, иначе приличных людей сюда не заманишь, да и с долгами надо рассчитываться.

И при этом что-то все-таки смущало, то ли обещанные легкие деньги, то ли бегающие глаза приятеля, вдруг явившегося после двадцатилетней разлуки. Впрочем, он всегда был трусоват на ковре, и когда его брали на болевой прием, сильно потел, боялся смерти.

Да ведь столько времени минуло...

Неизвестно, как, что и кого охраняла эта «Горгона», да Ражному хватило трех минут общения, чтобы понять, кто такие. Десяток молодых, здоровых и упитанных парней явно делились на две категории: одна отличалась спортивностью и неплохой речью, другая, судя по жаргону, была, скорее всего, из бывших ментов, и вряд ли кто из них бывал на зоне, но все одинаково распускали пальцы всеором.

Женская часть общества, приехавшая на микроавтобусе, оказалась числом больше мужской – девушек взяли с запасом и на удивление воспитанных, с хорошими манерами (как потом выяснилось, были они студентками филфака МГУ – этакий яростный стройотряд на летних каникулах). Возглавляла их командир – красивая и властная женщина лет тридцати, судя по тому, как ей все повиновались и называли Надеждой Львовной, преподаватель, а в свободное от учебного процесса время – содержательница фирмы «Досуг». Возле нее все время вертелась девица лет двадцати, с печально-ласковым взглядом, какой-то затаенной, скрываемой красотой, но в вульгарных эротических одеждах и с черной лентой на шее, туго сдавливающей горло, – то ли помощница, то ли комиссар стройотряда, которой позволялось называть командира Наденькой.

Так вот, бандерша отряда, едва освоившись в обстановке, подошла к Ражному, без всяких прелюдий указала на смуглую, итальянского вида филологиню и сказала:

– Это ваша девушка. За все платит хозяин. Но если она понравится кому-то из гостей, уступите и возьмете вон ту, крашеную.

Такой откровенности он не ожидал, хотя в летний период народ приезжал богатый, без комплексов и с легкими нравами. В «джентльменский набор» для отдыха непременно входили девушки не слишком тяжелого поведения, но чтобы вот так их раздавали, еще не бывало.

Против откровенного цинизма действовал только цинизм.

– А я вас хочу, Надежда Львовна, – сказал он, будто бы задыхаясь от страсти. – У хозяина право первой ночи.

– Я занята, – сухо бросила она и как бы увернулась от взгляда – так обычно ведут себя официантки в ресторанах, подающие на стол пьяным и похотливым гостям.

– Хорошо, тогда вашу наперсницу. Мне ее ошейник нравится.

На сей раз он не играл. Девица ему на самом деле понравилась, но так, как могут нравиться проститутки – с виду.

Бандерша смерила его строгим и презрительным взглядом, ответом не удостоила и, кажется, затаила тихую ненависть.

Несмотря на это, вначале все шло мирно и благопристойно, хотя гости пили всю дорогу и к базе подружили на хорошем взводе. В том числе и начальник службы безопасности, приехавший один на джипе «Навигатор» и, верно, пивший всю дорогу за рулем в гордом одиночестве. Однако внутреннему распорядку они подчинились безропотно и с удовольствием: все приезжающие на охотничью базу проходили ритуал очищения – шли сначала в баню.

Исполнительный и трудолюбивый Витюля натопил так, что волосы трещали; мужчины бросились в парилку, как в рай земной, но девушек пришлось втаскивать, словно грешниц на сковородку в ад. Они визжали, даже царапались, чем еще больше возбуждали аппетит, а с наперсницей бандерши даже стало худо, и ее вывели в предбанник отдышаться. Бандерша, как и положено администратору, вначале самоустранилась, вероятно, выполняя определенные условия, тут же забегала, захопотала, принесла нашатырь и потом увела пострадавшую на травку: охрана труда у студентов стояла на высоте.

После первого захода разгоряченные, взвинченные парни искупались в реке с барышнями, приняли пива и попытались втащить в парилку хозяина. Он сослался, что на работе, и это подействовало на отдыхающих – все понимали и особенно не напирали, поскольку ждали приезда шефа «Горгоны» – человека по фамилии Каймак. Официально он был крупным государственным чиновником (о чем упорно намекал еще тот приятель, что организовал Ражному клиентуру), работал в Палате по правам человека и, как понял Ражный, являлся тайным покровителем и, по сути, полным хозяином охранного предприятия.

Разумеется, его приезд на юбилейное торжество должен был остаться в абсолютном секрете от кого бы то ни было, потому и выбрали отдаленную охотничью базу в глухих местах. Ражного сразу об этом предупредили, чтобы тот не ломал себе голову, с кем имеет дело, а также намекнули, что теперь он отвечает за утечку конфиденциальной информации: то есть повязали секретностью, как веревкой.

Накануне, когда завозили продукты и кое-какое снаряжение для отдыха и развлечений, приехали два молчаливых человека – тогда совершенно трезвый и очень серьезный начальник службы безопасности на своем «Навигаторе» и тихо улыбающийся молодой человек с радио-приборами. Они прошли всю базу, осмотрели визуальными и с помощью электроники обследовали все помещения вплоть до туалетов и ближайшие деревья – искали подслушивающую аппаратуру и видеокамеры. К счастью, ничего не нашли, иначе бы контракт немедленно был разорван.

Хорошие деньги зря никто не платит...

Несмотря на вольность и отдых, в «Горгоне» соблюдались строгая иерархия и дисциплина, так что никакой особой самостоятельности не было, всеми процессами незаметно управлял один из парней – примерный ровесник, спортивный и отлично сложенный человек по фамилии Поджаров, финансовый директор фирмы. Сначала он не особенно-то выделялся из толпы, хотя взгляд все время цеплялся именно за него, но точно так же, как цеплялся он за девуцу с черным ошейником. Увидев, как Ражный легко отбил от гостей, попытавшихся сволочь его в баню, вдруг панибратски хлопнул его по шее и спросил, щуря лукавый глаз:

– Послушай, хозяин... А ты на коврах не бывал?

– В ранней юности, – бросил тот, чтобы отвязаться.

– Да? Это любопытно... Такое ощущение – не только в юности. А потягаться на травке слабо?

– На кушаках, что ли? – свалил ваньку Ражный.

– А ты не тот человек, за кого себя выдаешь, – вдруг заметил финансист. – Ладно, все в порядке, хозяин!

И поднял руки.

Лысоватый, уколищый и остроносый Каймак, человек лет за пятьдесят, приехал под вечер в сопровождении личной охраны и со своими «самоварами» – двумя молодящимися особами возрастом за сорок, весьма вульгарными, потасканными и откровенно некрасивыми. Ну точно, будто на помойке нашел или в бомжатнике напрокат взял! У одной не было передних зубов, а у второй росли жесткие усы и кустики волос на бородавках, и если бы не полная и сильно провисшая грудь, ее можно было принять за мужика.

В это время распаренные и утомленные баней отдыхающие лежали на траве, завернутые в полотенца или вовсе телешом. При появлении шефа публика стала «держаться носок», как при главнокомандующем, и мгновенно утратила инициативу.

Одна лишь бандерша оставалась независимой и полностью самостоятельной.

Тайный руководитель «Горгоны» вначале тоже подчинился правилам охотбазы, сходил со своими женщинами в баню, очистился там, и началось скучное застолье, посвященное юбилею. Вспоминали, говорили речи, и его команда на какое-то время забыла о своих пальцах и даже барышнях. Каймак оказался кормильцем всей этой публики в прямом и переносном смысле, предлагал выпить, угощал, демократично подкладывал в тарелки своих подчиненных закуски, требовал то одного, то другого, но сам ничего не ел и лишь минералку потягивал. Егеря, на лето превращавшиеся в официантов, сбивались с ног, бегая от кладовых и холодильников, куда заранее были завезены продукты к праздничному столу.

Ражный по воле шефа охранной фирмы сидел рядом с ним, и его усатая спутница, для начала предложив выпить на пару, невзначай положила руку на колено, а потом под прикрытием стола забралась в джинсы. Ей жутко мешала «молния», однако рука оказалась по-змеиному холодная, гибкая – изогнулась и вползла. Спровоцировать на глупость бывшего спецназовца погранвойск таким образом не удалось: во-первых, он все время поглядывал на девуцу с ошейником, во-вторых, был на работе и знал, за что трудится.

В-третьих, опасался, как бы такое чучело ночью не приснилось.

Но главное, замечание финансиста относительно борцовских ковров не выходило из головы, и тот сам время от времени незаметно рассматривал Ражного, следил за передвижениями, словно искал минуты для разговора.

И тоже не пил, когда все остальные гости расслаблялись по полной программе.

Седовласому шефу настолько понравилось очищение в бане, что он, не доведя юбилейное торжество до логического завершения, вдруг изъявил желание попариться еще раз, только сейчас всем вместе. Подвыпивший и еще более яростный стройотряд МГУ бросился в пекло первым, на ходу срывая одежду, и через несколько минут в парилке стало тесно. Ражный на сей раз уже не мог сослаться на служебные обязанности и оказался сначала в аду (банного жара он

терпеть не мог после горячего Таджикистана), а потом в ледяной воде речного омута, где били подземные родники. Холод он любил больше и потому купался с удовольствием, пока наблюдающая со стороны за своими девочками Надежда Львовна не всполошилась и не закричала:

– Миля?! Миля?! Девочки, где Миля?! Мужчины! Ищите Милю!

Даже имя у наперсницы было особенным... Об этом Ражный подумал уже под водой, проплывая у самого дна. И еще в голову пришла банальная мысль – хорошо бы найти ее и вытащить, был бы повод для знакомства...

Но повезло одному из охранников Каймака, который достал бесчувственную Милю, вынес на берег, и вокруг в тот же миг образовался круг из девушек. Бандерша ползала возле наперсницы на коленях, хлопала по щекам и перепуганно звала:

– Миля, Милечка, дорогая! Что с тобой?!

Ражный ворвался в этот круг, оттолкнул Надежду Львовну, перевернул девицу на живот, переломил ее через колено и вдруг понял, что Миля не тонет и воды не нахлебалась, а находится в нормальном состоянии и прикидывается утопленницей. Тогда и он прикинулся, уложил ее на спину и стал делать искусственное дыхание рот в рот. После третьего вдоха девица «оживла», мгновенно села и оттолкнула «спасителя». Стройотряд вместе с командиром радостно загомонил, а Ражный взял Милю на руки, отнес в охотничью гостиницу и уложил в постель, сначала под присмотром самой бандерши.

Когда же снова уселись за стол и Каймак не обнаружил Надежды Львовны, Ражный решил «услужить», вернулся в гостиницу и захватил там женщин врасплох: Миля отчего-то смеялась, а ее подруга только что сделала себе укол в вену и не успела спрятать шприц – зажала его в руке. Он сделал вид, что ничего не заметил, сказал озабоченно:

– Вас просят к столу, Надежда Львовна.

Девица уже лежала как умирающий лебедь.

– Да, я иду! – всполошилась бандерша. – Милечка, запишись изнутри. И лучше тебе поспать...

Но на улице неожиданно остановилась, заговорила беспокойно, с оглядкой, забыв прежние обиды на хозяина:

– Присмотрите за Милей, буквально глаз не спускайте. Важно, чтобы никто из гостей к ней не прикоснулся. За исключением шефа.

Оказывается, девицу берегли для Каймака! Который даже и не взглянул в ее сторону, занимаясь своими старыми, хоть и начищенными самоварами.

– Проституток я еще не охранял, – на ходу сказал Ражный. – Мне что же, сидеть у ее постели?

Надежда Львовна догнала, забежала вперед.

– Она не проститутка!

– Да?! Это любопытно!

Она перебила резко:

– А если с ней что случится? Если и в самом деле утонет или того хуже – кто-нибудь изнасилует? Или вы нуждаетесь в антирекламе?

Ражный ничего ей не сказал, однако нашел Витюлю и приказал не спускать с девицы глаз.

Через несколько минут к нему подсел финансист, незаметно, по-свойски толкнул в бок.

– Хочешь эту утопленницу? Ну, так пойдешь и оттрахай ее, я разрешаю.

– Как можно? – стал валять дурака и одновременно насторожился Ражный. – Девицу берегут для господина. А я тут «шестерка», слуга. Нет, не смею! Будет скандал...

– Ладно, не придируйся, иди. Шеф сделал заказ и забыл про него. С ним бывает...

– А что ты такой добрый? – спросил он и посмотрел Поджарову в глаза. – Не увораживайся, говори.

– Ты же на нее глаз положил, – все-таки увернулся тот. – А шеф – он же натуральный извращенец.

– Вот как?.. Не заметил.

– Ну еще заметишь, – пообещал финансист и ушел на свое место, недовольный тем, что не склеил дела.

Спустя четверть часа Ражный убедился, кто тут правит бал и кто всегда прав.

Скандал действительно начался, только не из-за девицы с ошейником: расслабленный, благостный после бани и купания Каймак что-то шепнул егерю Агошкову, по-ангельски висящему у него за правым плечом. Исполнительный, подбострастный официант куда-то умчался и скоро вернулся совершенно обескураженным и несчастным.

Ражный, неусыпно наблюдавший за тем, что творится вокруг шефа, мгновенно заметил это и насторожился, поскольку Каймак посерел и взгляд его сделался непроницаемо-угрюмым.

А следил за ним не один Ражный, ибо все застолье, исключая подавляющее большинство будущих филологинь, также помрачнело и погасило банный, здоровый румянец. Егерь – отважный, истинный охотник, однажды ножом дорезавший свирепого секача, стоял бледный и косил виноватый глаз в сторону президента клуба. Тем временем Каймак знаком приблизил к себе одного из телохранителей, шепнул что-то на ухо, и тот, сорвавшись с места, подбежал к машине, прыгнул на сиденье и умчался, разрывая колесами мягкую, отдохнувшую от крестьянских трудов землю.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.